



Абди-Жамил НУРПЕИС

И БЫЛ ДЕНЬ... И БЫЛА НОЧЬ...

*Роман в двух книгах
Продолжение. Начало в № 10-11, 2024.*

Книга первая

И БЫЛ ДЕНЬ...

Бывало, искушённый домбрист, видя, как благоговейно его слушают, и сам вострепётся, подхваченный собственным вдохновением. И глазами начнёт играть. И телом ёрзать. А ты вроде сам себя стеснялся, прятал глаза, склоняясь всё ниже и ниже над маленькой, словно игрушечной, домброй. И странно было сейчас видеть, наверное, рослого, крепко сколоченного детину скрюченным, согнутым в три погибели над какой-то своей, тёмной, никому не ведомой печалью. Уж не плакал ли ты в ту минуту вместе со своей неутешной домброй? Не звал ли невозвратимого?.. А она всё изливала чью-то скорбь, заходила в неизбывной тоске, томила и бередила заунывными звуками душу. И когда, казалось, готова уже была надорваться сама и разорвать сердце, ты вдруг выпрямился, вскинул голову, ни на кого не глядя, и отрешённо уставился в потолок. Слушатели, перехватив этот взгляд, затаили дыхание и невидящими глазами посмотрели туда же, на закопчённый камышитовый потолок, на косо-криво, кое-как набросанные жерди. Ты, хлопнув по деке, положил на струны тяжёлую руку и застыл неподвижно.

– Ай, родной!.. Ай, молодец! Выходит, ты и на такое способен?.. – растроганно пробормотал, опомнясь первым, старый Кошен.

– А ты разве что-нибудь вокруг замечаешь? Только и умеешь, как сорока, над ухом трещать...

– Заткнись, негодник! Если я и ворчу, то как отец на своих детей.

– Вон оно как! Значит, ты, что чёрный кобель, только своих щенков кушаешь?

Упрямо Кошену это было явно не по душе.

– Что ты понимаешь... Ну надо же, а? Сердце ты мне вынул, Жадигержан. Порадовал! Дай Бог тебе здоровья и удачи!..

В хибаре, будто обретя дар речи, заговорили наперебой, шумно и восторженно. Кто хвалил, кто благодарил тебя. А ты, ещё больше смущаясь и оттого хмурясь, поспешно прислонил домбру к стенке, встал и как-то неловко, боком, но стремительно подался к выходу. Рыбаки учтиво расступились, давая дорогу.

– Пошли, – кинул ты на ходу шофёру, а как только вышли, коротко бросил: – Поехали!

Старый грузовик с помятым радиатором завёлся не сразу. Ты, забравшись в кабину, нетерпеливо ждал. А рыбаки там, в камышовой хижине, не догадываясь о твоём внезапном отъезде, всё ещё не в силах унять восторг, перебивая друг друга, продолжали гомонить:

– Вот это да! Удивил баскарма, дьявол!..

– Да он весь в отца, а у того под рукой любая деревяшка пела. Что отец, что сын, скромные от Бога.

Старый мотор дёрнулся. Взревел. И дряхлая, с подбитым теперь носом машина тоже, как всегда, зашлась крупной дрожью. Тронулась, всё ещё чихая и кашляя, переваливаясь с боку на бок на колдобинах. Лишь когда выбрался на большак, грузовик разогрелся, покатил, вздымая за собой тучу пыли, медленно относимой ветром.

– Жми, дружище! Жми! – крикнул, помнится, ты.

– М-ма-мент, басеке, – ответил шофёр суетливо. Забурлило, закипело в радиаторе; из-под капота за клубился пар; старый мотор напрягся и заревел ещё натужнее, особенно после того, как шофёр, суетясь, с готовностью произнёс своё обычное: «Мамент!»

– Басеке, небось к жене торопитесь? Понимаю, хе-хе-е, – помнится, рассмеялся шофёр-бала.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Когда пыльный грузовик поравнялся с большим домом в центре аула, расположенного у подножья Бел-Арана, ты спрыгнул на дорогу, не дожидаясь, пока остановится машина. Шофёр, высунувшись из кабины, что-то прокричал, но ты даже не обернулся. Торопливо распахнул дверь, вбежал в дом. Переступая порог, споткнулся. В прихожей было сумрачно. Замешкался, поморгал, привыкая к темноте, всей грудью вдыхая родной домашний запах, и тут увидел жену и дочку.

– Эй-эй... Куда, куда вы удалились? – дурашливо пропел пришедшую вдруг на ум стихотворную строчку.

Бакизат продолжала одевать дочурку. А ты, глядя на них, широко и, наверное, глупо улыбался. Потом сорвал с плеча и бросил в угол мешавший дорожный мешок. Туда же швырнул ушанку.

– Оу, да что с вами? Не узнаете разве меня?

– Вижу, больно весёлый...

– Да, Батиш, весёлый... весёлый я нынче!

Бакизат отчуждённо взглянула на тебя и, не проронив ни слова, взяла за руку дочку и направилась к выходу.

– Да вы что?.. Куда вы?!

– Ребёнок на занятия, я на работу.

– Не пущу!

– Свихнулся, что ли?

– Верно, свихнулся. О-о!..

Ты и в самом деле, словно сумасшедший, корча гримасы и выпучив глаза, хотел загрести в объятия и прижать к груди жену и дочь. От тебя разлило потом и рыбой. Одежда твоя насквозь пропиталась, должно быть, неизвестными для них запахами другого края, солёной воды и терпких трав.

Девочка сморщила носик и отвернулась.

– Не дури! Пусти ребёнка. В школу опоздает.

Бакизат была бледна. На свою беду не сразу сообразил, что твоё присутствие раздражает её. Опьянённого радостью встречи с женой и дочуркой, тебе действительно мало было дела до того, что уместно и что неуместно в проявлении твоей бурной радости. Всё ещё смеясь и дурачась, попытался обнять и привлечь к себе Бакизат. Она упёрлась обеими руками в твою грудь:

– Неспроста говорят, что сырдарьинцев хлебом не корми, дай только повеселиться. То-то ты зачистил туда.

– Да, повеселились мы там на славу, – сказал ты и вдруг ощутил такую страшную слабость во всём теле, что захотелось опуститься прямо на пол, там, где стоял.

– Папа... пусти, – захныкала девочка.

Только теперь заметил, что она, прижав портфель к груди, умоляюще глядела на тебя. И который уж раз поразился тому, что волосы крохотной твоей дочурки причёсаны точь-в-точь как у матери – с удивительным тщанием, аккуратно, гладко, и отливали смоляным блеском. На головке ослепительно белел воздушный бантик. Поверх старательно отглаженного школьного платья столь же старательно отглаженный белый фартук. Если бы не прижатый к груди портфель, она удивительно походила бы на разряженную маленькую куколку, которую ты где-то видел...

– Папа, я в школу опаздываю.

– А ты разве не с утра учишься?

– Это я в прошлом году.

– Ах, да... ты же теперь во втором классе.

– Иди, доченька, опоздаешь, что знает твой отец, кроме рыбы!

Девочка, вторя маминой досаде, повела острым плечиком, норовя вырваться.

– Иди! Иди, дочурка!

Обрадованная, она побежала. Добежав до угла дома, на мгновение оглянулась назад. В глазах твоих защипало, в горле застрял жгучий комок. И ты, смущённый своим странным состоянием, сам не свой вернулся в дом. Увидев Бакизат, которая собиралась выходить, ты, раскинув руки, встал у двери, преграждая ей путь.

– С тобой сегодня, гляжу, никак не сладить.

– Ни лада ни склада от нас не жди. Как только ещё не рехнулись там...

Она впервые внимательно оглядела мужа, усталого, измождённого и чем-то подавленного.

– Что же не остался там зимовать? Выходит, не забыл ещё совсем дорогу к дому...

– Батиш, прости... Не мог бросить людей...

– А как нас оставлять, так душа не болит...

– Ну, дорогая, что с тобой? И так тошно, а ты ещё...

– А нам, думаешь, легко?

– Знаю, нелегко. Зато, Батиш, с удачей на этот раз вернулись.

– Поздравляю! Рыба есть – зачем тебе жена, дети?!

Ты потупился, потемнел лицом. Потом сказал осевшим голосом:

– Что ты, Батиш! Уж кто-кто, а ты-то должна бы знать участь рыбаков.

– Сочувствую. Только я тут при чём?

– Конечно, ты ни при чём... Но хотя бы войди в их положение...

– Допустим, вошла. Ну и что?

– Тогда и меня поймёшь. И... простишь.

Бакизат, не дослушав тебя, озабоченно взглянула на настенные часы.

– Больше ничего не скажешь?

А что тут скажешь? Уж и так всё выложил как есть. Только ещё неизвестно, что из всего этого дошло, а что прошло мимо её разума.

– Бакизат, стой! Ну, пожалуйста.

– Что-о?

– Батиш, милая... Прошу тебя, побудь сегодня со мной.

– Ладно... ладно, – сказала Бакизат, похлопала тебя по плечу, а сама нетерпеливо глянула опять на настенные часы. – Теперь, надеюсь, никуда не уедешь? Я вижу, там у вас было интересно. О рыбе, об удаче потом расскажешь. Ладно?

Ты не ответил ни «да», ни «нет». Лишь пристально посмотрел на жену, которая почему-то всё время отводила глаза в сторону.

– Чай себе поставь. Поешь что-нибудь.

– Да что мне еда!

– Ну да... Должно быть, не голоден.

Ты хмыкнул. Бакизат, метнув взгляд из-под ресниц в зеркало сбоку от себя, оглядела с ног до головы поблёскивающими чёрными глазами свою по-девичьи стройную фигуру. Нарядилась будто на праздник. Всё на ней шито недавно в лучших ателье во время её поездки в столицу. Оттого ли, что торопится куда-то, или оттого, что грудь её распирает какое-то неведомое тебе трепетное чувство, щёки зарделись, как когда-то в девичьи годы. «Интересно, куда она?.. Или не может забыть обиды? Так ли? Стало быть, не простила. А с какой стати ты тогда кочевряжишься? Прежде в таких случаях ты всегда молил о прощении. Моли и теперь, кайся. Был ты виноват или нет в другое время, а на этот раз виноват явно».

В самом деле, на этот раз ты впервые в жизни пошёл против её воли. Поехал к рыбакам. Не додумался хотя бы успокоить, как-то смягчить заупрямившуюся вдруг жену. Нет, хотел, ещё как хотел. Но знал, чем это может кончиться. Стоило бы тебе только заговорить, заикнуться о невзгодах, о невыносимой участи несчастных рыбаков, как она тут же перевела бы разговор на свою извечную обиду: «Не знаю, почему ты цепляешься за эту Богом проклятую землю?!» – сказала бы она. «Семь лет подряд не выпадало ни капельки дождя, вся трава дотла выгорела», – сказала бы она. «Люди, вон, уезжают в другие края, – сказала бы, – лишь ты привязался, прилип к своему обречённому на гибель морю», – сказала бы она. Ты это понимал и потому, не зная, как быть, лишь вздохнул обречённо и, терзаясь безысходными душевными муками, покатишь тогда к рыбакам, успокаивая себя тем, что только переночуешь и тут же вернешься домой...

Не сдержал слова. Ну, чего ты стоишь? Кайся! Кинься ей в ноги, моли о прощении!

– Батиш, родная...

Бакизат опять посмотрела на часы. Ты видел, ей сейчас не до тебя. Куда-то торопится, вся взвинчена и, теряя терпение, еле сдерживает себя. У тебя вошло в привычку чувствовать себя всегда виноватым перед женой, даже если ты ни в чём не виноват.

Робко приблизился к ней. Робко положил ей на плечо ладонь. Вопреки твоему ожиданию, она не противилась, проявляя несвойственную ей покорность. На душе у тебя стало тепло. Робкая рука, осмелев теперь, потянула к себе Бакизат. И на этот раз она не противилась. Весь её вид, казалось, выражал готовность безропотно подчиниться любому желанию бедолаги-мужа. И потому на тебя вдруг нашло успокоение. Как-никак все твои дела вроде пошли теперь на лад. Домой возвратился. Дочурку приласкал. И вот теперь... войдя в твои объятия, замерла, вся притихшая и покорная, твоя суженая, все глаза проглядевшая, дожидаясь мужа-бродягу, который, как неприкаянный, и зимой, и летом всё мотается, всё скитается по морю.

Тебе показалось, что остановилось время. Бездыханно замер весь мир. И будто сам ты тоже не дышал: от неё и от её изысканных нарядов исходило непривычное тебе, еле уловимое нежное благоухание только что распустившегося бутона. У тебя закружилась голова. То ли из-за этого запаха, то ли обожгло, как уголья, прикосновение к женскому телу, но кровь, воспламеняясь в жилах, мгновенно ударила в виски. И ты, больше не сдерживая свою страсть, рывком привлёк её к себе. Бакизат оставалась безучастной. Лишь, чуть откинув голову,

подставила для поцелуя бледное, бескровное лицо. Ты тут же склонился к ней, потянулся было губами к её лицу и вздрогнул, вдруг невзначай, краем глаза, глянув в зеркало. А там, в зеркале, какой-то огромный детина с тёмным-тёмным, заросшим густой щетиной лицом склонился над молодой женщиной, которая, подчиняясь супружескому долгу, покорно подставляет своё потухшее лицо. Ты резко отстранился от неё. Бакизат тут же вся подобралась. Обрадованная тем, что удалось выскользнуть из крепких объятий сильного мужчины, молча, дробно цокая каблуками по дощатому полу, мгновенно пробежала до двери.

Огромный дом вдруг стал пустынным. Мир в мгновение ока потерял смысл. Жизнь тоже потеряла всякий интерес. И ты, не проходя дальше, присел, обессилев, прямо в прихожей. Тоска острыми когтями полоснула по сердцу. Ты, схватившись обеими руками за голову, вдруг заломившую от боли, простонал, заскулил по-собачьи. Матери, конечно, нет дома. Может, она в хлеву?

В висках ломило. Проходить в комнату не хотелось. Ох, оказаться бы сейчас там, в камышовой лачуге в устье Сырдарьи, среди своих рыбаков! Будь ты там – завалился бы, не раздумывая, прямо на пол, не заботясь о том, что сунуть под голову, чем укрыться... И разве было такое, чтобы ты, бедолага, в своей изо дня в день утрачивающей смысл неприкаянной жизни искал себе благ и удобств! Недосуг тебе думать о том, чтобы изголовье было высоким, подстилка мягкой, а одеяло тёплым. Проведя, считай, половину отпущенного тебе земного срока среди рыбаков, и сам рыбак, привыкший к неприятельной скитальческой жизни вдали от семьи и дома, ты с удовольствием растянулся бы сейчас вот здесь, в прихожей на полу. Взгляд твой упал на гладкий, вылизанный и выдраенный пол. И горькая усмешка покривила твои губы.

О Бишара! Бишара! Посмотрел бы со стороны на себя, на свой вид. Разве может быть что-нибудь общее у тебя, у бишары, с этим до блеска вылизанным полом, с той расфуфыренной, будто куколка, девочкой и с той разнаряженной, как на праздник, благоухающей женщиной? Ну, скажи, есть ли хоть что-нибудь, способное сблизить тебя, расхристанного, непутёвого, с ними? Ха-ха-ха-а...

– Эй, сыно-ок...

Дрожь пробежала по спине. Ты рванулся к сухонькой смуглой старушке, неслышно вошедшей в дом, обнял её. И старая мать, точно старая верблюдица, истосковавшаяся по своему непутёвому верблюжонку, на миг обмякла от нахлынувшей нежности:

– Когда приехал?

– Только что, апа...

– А я с утра в хлеву вожусь. Бурая верблюдица совсем от рук отбилась. Беда, сосцы затвердели. Кое-как нацедила, чай забелить... Ну, рассказывай, все вернулись?

– Нет... я один, другие на днях вернутся.

– Бедняги, одичали небось?.. Да и ты похож на чучело. Сегодня банный день. Сходи-ка, отмойся.

– Апа-а... – невольно вырвалось у тебя, и ты порывисто, как в детстве, прижался к груди маленькой старушки. Но она сразу посуровела, резко оттолкнула тебя.

– Не смей! Такой верзила, а льнёшь к матери, как сосунок. Или хочешь, чтобы вместе с тобой и я нюни распустила?!

– Ну, прости... апа.

– Прощаю, конечно. Ты у меня ведь один. Дал бы Бог хотя бы двоих – я ещё, может, выбрала, кто получше.

Ты не стал ей перечить, только по-ребячьи радостно посмеивался.

– У, негодный! Надо же, весь в отца пошёл. Бывало, чуть солнышко припечёт, он, бедняжка, тоже всё норовил спрятать голову в мою бабью тень...

...В те годы, когда мужчины, все как один встав под ружьё, воевали там, на западе, она, теперь худенькая старушка, взвалила на свои женские плечи непомерную тяжесть военного тыла. Четыре долгих года рыбачила, горбила по-мужицки, мыкалась с одними бабами да детьми, зиму и лето напролёт пропадая в море.

Однажды, в лютую зиму сорок второго, её унесло на льдине в открытое море. Лишь утром следующего дня гонимую Чёрной бурей Приаралья льдину прибило к острову Барса-Келмес. И её нашли там, всю обмороженную, едва живую... Ты знал ещё много преданий-легенд о её смелых предках. Судя по этим, ещё и поныне переходящим из уст в уста преданиям, джигиты из материнского рода – Тлеу-Кабак – отличались редким бесстрашием, а девушки – особой гордостью степнячек. Говорят, они в боях не уступали в храбрости даже самым отчаянным джигитам. По преданию, прабабушка матери была наделена недюжинной силой. Ей будто ничего не стоило без чьей-либо помощи, половчее ухватившись за хвост или за ноги, вытащить телка, упавшего в колодец.

После того, как она пала в бою, защищая кочевье, благодарные потомки сложили об этом немало песен и легенд. Мать в вечерних сумерках, когда в доме не было посторонних, бывало, сидя у жаркого очага, пела о подвиге прабабушки. Ты в детстве знал этот песенный сказ. Он начинался с того, что зима в том неладном году выпала суровая, скот отощал. И тогда джигиты славного рода Тлеу-Кабак, пораньше сняв аул с зимовья, направили свой путь с голодного побережья на просторы жайляу. Ещё не совсем сошли снега. Ещё дотаивали, по-зимнему белея в оврагах, холодные сугробы. Тяжело тащились верблюды, увязая в грязи. Вдруг со стороны с гиком выскочил на них подстерегавший в засаде враг... Дальше песня восхваляла прабабушку матери, расписывая её Богом данную красу, обаяние и храбрость.

Пусть имя её и святая память о ней не потускнеют в жизни потомков! Она в тот роковой час ехала во главе кочевья на беломордой пышношерстой верблюдице и кормила грудью месячного младенца... Протяжно и скорбно растекался горестный стих песни, трогая и раня сердца слушателей... И вот увидела прабабка, что силы сражающихся неравны, что враг теснит застигнутую врасплох горсточку джигитов рыбацкого аула. И ещё увидела она, как в этот бедственный час, наспех вооружившись чем попало, на подмогу братьям и мужьям бесстрашно ринулись в бой девушки и женщины славного рода Тлеу-Кабак. И тут прабабка, молодая мать, отняла ребёнка от груди и торопливо сунула его какой-то старушке. Мигом свернув толстые косы, надела поярковую шапку. Подпоясала верёвкой чапан. И, как пелось в песне, вскочила на неосёдланного коня и, выхватив из рук какого-то оробевшего джигита, трусливо покинувшего поле боя, крепкую джидовую дубину, бесстрашно вступила в бой. И в этой отчаянной схватке, где она билась разъярённой львицей, каждым своим ударом сшибала с коня разбойного удальца. Но вот в горячке схватки развернулись и упали на плечи её тяжёлые косы, впопыхах убранные под поярковую шапку. И враги, говорят, едва не задохнулись от злобы и стыда, узнав в этом ладно скроенном и рослом светлицем юном батыре с джидовым колом молодую женщину. Взъярившись, два батыра-разбойника бросились, говорят, одновременно на неё. И две отточенные разбойничьи пики одновременно вонзились в материнскую кормящую грудь храброй воительницы. Да будет священной её имя во веки веков!..

...Что ж, может быть, всё это правда. И эта согбенная, немощная старушка, что сейчас укоризненно смотрит, недовольная своим единственным сыном, тоже немало унаследовала от тех гордых девушек из храброго рода Тлеу-Кабак. Только бедняжка нынче уже не та, что прежде. И гордость её тоже состарилась, стала мягче, отходчивей.

- Ну, как ты тут, апа?
- А что я... Что мне сделается. У кого единственный сын, у того и трепещет постоянно душа. Сидим вот, на тебя молимся. Встанешь – «О, Боже!» – твердим, сядешь – «О, Боже!» – твердим.
- Как твоё здоровье?
- Видно, Бог ещё не придумал такого недуга, чтобы твоя мать околела. Ты что, один дома? – старуха строго посмотрела на тебя.
- Ты не сразу нашёл ответ.
- Они, апа... они только что были...
- Что ты плетёшь?! Каким бы баба нынче ни была божеством, что за срам – уйти из дома, не напоив мужа с дороги чаем.
- У неё там... в школе занятия.
- «Занати!» Слово-то какое! Занати женщины не там, а тут, у очага. Её обязанность – ухаживать за мужем, ублажать его.
- Ну, апа... Будет...
- Сами виноваты. Бога отвергли. Священных духов забвению предали. Обычаи предков растоптали. Шумели-галдели на каждом углу: свободу женщины, равноправие... Тьфу!.. И вот долгополое бабье мигом вам на шею село.
- Не видел я что-то, чтобы казашке худо было от равноправия.
- Молчи уж! Вот и сидишь тут из-за бабьего равноправия, как одинокий пенёк. Жди теперь, пока твоя «равноправие» вернётся с ушетельского собрания.
- С треском распахнулась дверь, и с улицы влетел, споткнувшись о порог, как всегда суетливый, чем-то возбуждённый сын. Увидев отца, мальчик завизжал, запрыгал: «Бапа!..» Ущербное дитя никак не унималось, радовалось, с визгом повиснув у тебя на шее, сучило в воздухе ногами, что-то лопотало, отрывисто смеясь и целуя тебя.
- Ах, птенчик ты мой!.. Сыночек! – дрогнувшим от жалости голосом проговорил ты, лаская голенастого, не по летам рослого сынишку, заливавшегося бессмысленным смехом. Каждый раз, даже невзначай, коснувшись этого непоправимого родительского горя, душа скорбела, корчилась, сжималась от боли, от непостижимой вины, и каждый раз чувствовал ты себя подшибленным и бессильным что-либо поправить в жизни.
- Хватит. Видишь, отец с дороги устал. Пусть отдохнёт. Пойдём...

* * *

Пока мать готовила чай, ты ходил в колхозную баню. Помылся, нырнул разок в парную и почувствовал, как стало легко. Но там, в бане, к твоему и без того удручённому состоянию внезапно добавилась ещё одна смутная тревога. «Впервой, что ли, он сюда приезжает, пусть приедет», – сказал ты. И тут же напроць забыл об этой весте. После бани преспокойно возвращался домой. Завывал ветер. Мела по ногам пыльная позёмка. Хоронясь от ветра, ты нагнул голову и приподнял ворот пальто. И, внезапно вспомнив о неожиданной весте, услышанной в бане, остановился посреди улицы. Замер в неясной, тревожной догадке. Губы сами пробормотали вслух: «Ну, пусть... Пусть приезжает!» Однако ты тотчас спохватился – не увидел ли тебя кто-нибудь бормочущим посреди улицы. И исподлобья незаметно повёл вокруг глазами. К счастью, на улице ни единой живой души, кроме тебя. Рассеянный взгляд наткнулся на заброшенные дома по ту сторону улицы, среди которых уже немало порушенных. И снова вдруг на сердце стало пусто и неуютно. Поспешно опустил глаза, побрёл, подавленный, домой. Каждый разрушенный или покинутый дом живо напоминал тебе бывших хозяев. Бывшую жизнь. И ты, идя по улице, старался не глядеть по сторонам, не берeditь зря душу.

В тридцатые годы, когда тебя ещё и в помине не было, по всему побережью Арала спешно организовывались рыболовецкие колхозы. Тогда у подножия Бел-Арана впервые запестрели белые, точно чайки на берегу, аккуратные домики рыбацкого посёлка. Тогда же построили школу, клуб, магазин, баню. И в душах недавних кочевников поселилось непривычное успокоение. А теперь... Взгляд снова вернулся к останкам домов по ту сторону улицы. Ты точно знал – их было двадцать пять семей. Потомки одного предка. Когда на этом месте закладывали посёлок, двадцать пять рыбаков-сородичей поставили свои дома один к другому, заняв почти половину улицы. Незадолго до злополучной твоей поездки к то-ням Сырдарьи так же дружно, в один день, покинули они родной край.

Зажмуриться бы так, чтобы вовсе ничего не видеть вокруг. Но проклятая память бодрствует помимо твоей воли. В тот день, когда уезжали разом двадцать пять семей, в ауле царила траурная печаль. В тот день ни один рыбак не вышел в море. В тот день с утра стар и млад высыпали на улицу. Потерянно и бестолково суетились женщины, потрясённые отъездом соседей, с которыми столько лет жили бок о бок и делились всем. Они горестно глядели друг на дружку, не в силах вымолвить ни словечка, кто вздыхая, кто с трудом подавляя рыдания, прикладывали снова и снова к покрасневшим глазам концы жаулыков. Остающаяся печальница подсаживалась к уезжающей горемыке – сношеньки-подруженьки, прикинув друг к дружке, тихо обсуждали свои женские тревоги и печали. Среди суматохи отъезда торопились высказать всё, чем не успели поделиться за годы, прожитые рядом. «Слышишь, девка...» или «Помнишь, молодуха...» И продолжалась горестная беседа до тех пор, пока кончики их платков не становились мокрыми от слёз. И неизвестно, сколько бы ещё сидели так, если бы не выводил их из забвения какой-нибудь грозный мужской окрик. Тогда, спохватившись, они вставали поспешно, с трудом расправляли повреждённые во время былых родов поясницы и торопливо убежали в общую сутолоку.

А дети довольны. Среди всей этой суматохи они одни беспечно резвились, ликовали, бегали, затевая свои шумные игры. Для беспечальных детских душ словно не было ничего более весёлого, более радостного, чем вся эта суматоха, вызванная внезапным переездом. Они, эти ребята, лишь потом, спустя многие годы, вспомнят с грустью, с чувством давней невосполнимой утраты своих сверстников, с которыми вместе выросли в одном ауле и делили детские забавы. А пока были рады-радешеньки шуму, гаму, кутерьме – как те дети, которые уезжали, так и те, что оставались.

В этом ауле рождалось всё больше дебильных, неполноценных детей. И эти убогие тоже, хоть и ничего не понимали, крутились у всех под ногами. Безрукие, безногие детишки, как лягушата, прыгали, подсакивали, стуча костыликами. При виде их у тебя всегда переворачивалось сердце, а тут ещё ты вдруг увидел этого десятилетнего мальчонку... Мотаясь что ни день с рыбаками, ты давно не видел его. Мальчонка заметно подрос, вытянулся. На его всегда печальном бледном лице не было ни кровинки. Никто в ауле не видел, чтобы он играл, смеялся или шалил вместе с другими детьми. Где бы он ни появлялся, всюду водил за ручку четырёхлетнюю соседскую девчушку, мать которой умерла в прошлом году от рака. Неизвестно, почему мальчонку терпеть не могли другие слабоумные дети аула. Они постоянно подстерегали и избивали его. Однажды они, налетев целой ватагой, с ходу повалили и начали катать его по земле с дикой, безумной радостью. Гогоча и ликуя, пинали, колотили со всех сторон сжавшегося в комочек, не издававшего ни звука мальчишка. На них случайно наткнулась Бакизат, она отбила мальчонку, привела его к себе домой. Умыла, успокоила, уложила в постель, а сама вышла на кухню стирать. Когда она вер-

нулась, мальчик сидел в постели, понуро свесив голову на грудь. Казалось, в ту минуту он ничего не видел вокруг, не чувствовал, он не заметил даже Бакизат, которая, едва войдя, застыла на месте. По его бледному лицу текли слёзы. Казалось, во всём мире был лишь он один со своей отравленной каким-то лишь ему известным горем душой.

Бакизат, не сказав ни слова, бросилась к мальчику, порывисто обняла его и, преодолевая подступившие к горлу рыдания, крепко прижала к груди. Она не стала успокаивать его. Не стала спрашивать, почему он плачет. Об этом мальчик никогда никому не говорил. Не только посторонним, но и своим родителям. Весь аул знал, что он порой вот так, безо всякой причины, кручинился сам по себе, изводя своё крохотное сердечко какой-то никому не ведомой скорбью, и молча плакал, без всхлипов, обильными слезами. В такие минуты и стар и млад в рыбацьем посёлке, будто ощущая какую-то вину перед этим малышом, замирал в глубоком молчании. А из глаз мальчика долго текли, сбегая по лицу, горячие слёзы. Потом он, никем не утешенный, вдруг сам переставал плакать. «Апай, – сказал мальчик тихо, почти шёпотом Бакизат, которая всё это время молча, глотая слёзы, прижимала его к себе, – когда вырасту, стану врачом и буду лечить тех ребят».

В тот день, когда весь аул, из которого уезжали сразу двадцать пять семей, был объят суматохой, видимо, снова запустили ракету – внезапно испортилась погода, со стороны, где находился Байконур, налетел сильнейший ветер, по всей степи взвилась пыль. На следующий день ветер перерос уже в чёрную бурю, которая бушевала несколько дней кряду, и в один из этих дней, ближе к вечеру, двадцать пять машин со скарбом двадцати пяти домов, собираясь отъехать, выстроились в колонну. И этого было достаточно, чтобы люди вдруг всполошились. Какая-то пожилая женщина с криками кинулась обнимать кого-то:

– Ойба-ай! На кого нас покидаете в этом Богом проклятом краю, о-ой-ба-ай!

От внезапно раздавшегося истошного вопля женщин пришла в ужас детвора. Особенно самые маленькие, несмышлёныши, тараща глаза, они заозирались в страхе по сторонам. Не понимали, почему беспричинно плачут большие дяди и тётки, которые то ли в шутку, то ли всерьёз, ни с того ни с сего ошалев, вдруг стали набрасываться друг на друга. И, сомкнувшись в объятиях по двое, по трое, причитали, рыдали в голос. К ужасу малышей, крики и вопли нарастали. А когда во всей этой сумятице криков и воплей каждый из малышей разглядел своего отца, свою мать, которые тоже, крепко обхватив кого-то за шею, выли и причитали, малышня, до того тихонько сглатывавшая слезы, вдруг разом заревела.

Тут же крутились под ногами псы рыбацкого аула. Прежде они ничего подобного не видели. Похоже, и сейчас не знали, что им делать – то ли лаять, то ли затаиться? – поджав хвосты, тихо повизгивали. Но, видя, что до них нет никому дела, отбегали в сторону и там, задирая морды, возносили к небесам свой тоскливый вой.

И во всём ауле поднялся вой и плач. Ты попробовал было уговорить людей, но никто не слушал тебя. И тогда гаркнул яростно шофёрам:

– Чего стоите? А ну, заводи! Трогай скорее!

Один за другим взревели двадцать пять моторов. Первым двинулся грузовик, на котором посреди тюков с отрешённым видом восседал белобородый старец. За ней, за головной машиной, вытягивались в длинную колонну остальные. И люди, будто привязанные невидимыми арканами к этим машинам, побежали следом. Грузовик с белобородым стариком в кузове первым поднялся на выжженный солнцем бурый холм за аулом и приостановился. Люди – провожающие и отъезжающие – снова с воплями кинулись друг к другу.

И в эту минуту вдруг вознёсся к небу сильный грудной голос. С тех пор прошло без малого два месяца, но тот пронзивший душу голос женщины до сих пор звучит в тебе. И каждый раз живо вспоминается она, эта белолицая, ещё не увядшая певунья-печальница. И вспоминается, как ты когда-то всю ночь веселился на её свадьбе вместе с аульной молодёжью. Было тебе известно, что один из её предков был вдохновенным сказителем-жырау, прославившимся на все приречье Сырдарьи. Однако, придя молодой снохой в рыбацкий аул, она держалась всегда скромно, и только в день разлуки, видно, вырвался наружу, взыграл дух славного предка-жырау. Она стояла в кузове грузовика, обратившись лицом в сторону оставшегося позади рыбацкого посёлка, и необыкновенной силой красивый голос её взвился над бурным холмом. Толпа вздрогнула и затихла. И ты замер. Что это, подумал ты, – чей-то старинный плач в час прощания с родным краем? Или исторглась из сердца её собственная боль в горькую минуту разлуки?

...Между тем нарядно одетая, видная собою белолицая женщина приосанилась, выпрямилась во весь рост и, упираясь обеими руками в широкий, туго затянутый под самой грудью, поверх плюшевого камзола, алый пояс, обратилась со своей песнью-сказом к людям: «В благословенный час прибыла я снохой в аул славных поморцев. Как правоверная невестка, переступила я правой ногою порог чистой обители свёкра и свекрови. Разве не с добрыми пожеланиями на устах, не со светлой ли надеждой в душе приникла я в освящённую ночь к груди своего избранника? Разве не почитала старших? Не уважала младших? Не любила мужа, не радовалась детям, зачатым в этой любви? Так скажите, люди добрые, как же решилась я бросить с такою любовью ухоженный очаг семьи своей?..»

Дыхание её всё ширилось. Голос набирал высоту и мощь. Пела она свободно, слова песни, исторгнувшиеся из её души в час разлуки, как бы рождались в глубине её сердца, полные затаённого значения и силы. И, как искони делали все её степнячки-прародительницы, она покачивалась в такт пению, вперёд-назад, будто желая превозмочь этими привычными молитвенными движениями стеснившую её грудь тоску. Но тоска невольно передавалась тем, кто внимал ей сейчас на прощальном холме за аулом. Голос светлоликой певицы обретал крепость и властную силу там, где её собственная песня-прощание непринуждённо сливалась со старинной песней, воспевающей славный род поморцев. «О Тлеу-Кабак, Тлеу-Кабак! Твой край, где радостной песни моей мне не удержать! Я о тебе лишь пою, всё тебе отдаю, так дай нам счастья, Создатель, хотя бы с ноготок! С маленький ноготок!»

Люди, слушая её, казалось, оцепенели. Лишь губы их шевелились, неслышно повторяя: «Дай нам счастья, Создатель, хотя бы с ноготок! С ноготок!» У многих от подавляемого рыдания вздрагивали плечи. Как ты ни крепился, но от песни, восславляющей когда-то могучий род Тлеу-Кабак, перехватывало и у тебя горло... Ты вдруг рассердился, не столько на поющую женщину, сколько на себя, и, стремительно шагнув вперёд, выкрикнул:

– Довольно! Уймись, женеше!

– Ладно, Жадигержан, пусть поплачет. От слёз бабам легче станет, – сказал какой-то старик.

Услышала белоликая твой окрик или нет, ты не знаешь, но только в одно мгновение она неожиданно и поразительно быстро преобразилась. Преобразился мгновенно и её голос, став протяжным, уверенным в какой-то только ей одной ведомой правоте. Она пела: «Вам, о родные места, говорю в этот миг: прощайте! Море родное, чаек пронзительный крик, прощайте! Ветер в пойме зелёной и ты, прозрачный родник, прощайте! Всё, к чему взор с колыбели привык, отныне прощай!»

Да-а... почти два месяца прошло с тех пор. И за то время, что провёл ты у рыбаков на присырдарьинских тонях, из посёлка у побережья Бел-Арана уехали одна за другой ещё пять семей. Всякий раз, возвращаясь в аул, ты недосчитывался нескольких семей.

Вот и сегодня с утра в контору пришли сразу трое стариков – среди них и почтенный Адай. Все трое виновато и невпопад забубнили о том, что вот, мол, решили тоже уехать. А ведь только у одного почтенного Адая четверо взрослых сыновей-крепышей. И они все теперь стронутся с места. Подадутся вслед за отцом, точно волчата за матёрым вожаком.

Так уж, видно, угодно было матери-природе сотворить посреди пустынных степей синее-синее море, похೋе на чашу с прозрачной водой. Две могучие реки, как два материнских сосца, испокон веков щедро питали его. И теперь особенно жалко и больно смотреть на него, когда оно усохло, спало, обмелело на четыре человеческих роста. За всё долгое знойное лето иной раз бурдюка воды не перепадёт ему от двух некогда полноводных великих рек – Сырдарьи и Амударьи, и тогда море, обречённое на мучительную жажду, уподобится доживающему последние дни тяжелобольному. И, как у изголовья безнадежно больного, стали собираться разные там знахари, бабки-гадалки, так и вокруг погибающего моря суется какой уже год провидцы-прорицатели. Только что один из них с пеной у рта предсказал, что в ближайшие пять лет Аральское море разделится надвое, оставив на дне крепчайший рассол.

Что ж, и то хорошо, что не всё исчезнет, что-то сохранится. Пусть жалкий и горестный, всё-таки след древнего Арала, как печальное воспоминание, останется на земле. Но загляни себе в душу – разве успокоится она, если море, которое веками кормило и радовало поморцев, давало приют всем жаждущим в пустыне, вдруг разделится надвое, будто рассечённое мечом рока, на северный, Малый, и южный, Большой, Арал?..

Это не море – это душа твоя рвётся надвое...

* * *

Вот ты теперь стоишь, смотришь на порушенные дома по другую сторону улицы и, беря в себе старые раны, перебираешь в памяти грустные события того дня... Как только окончила белолицая свою прощальную песнь, длинная колонна машин сразу тронулась и потянулась по выжженной степи в сторону заката. Вскоре машины скрылись за перевалом. Рассеялась пыль. А люди всё стояли на буром холме за аулом, всё глядели вслед. С тех пор в душе твоей поселилась неосознанная, но настойчиво и неотвязно дающая о себе знать глупая тревога – будто поскуливал там неведомый щенок. И каждый раз, как только кто-нибудь уезжает из аула, щенок этот скулит всё громче, всё обречённее...

* * *

И ведь по пути в баню ничто тебя вроде бы не тревожило. Спокойно вошёл в предбанник. Снял пальто. Снял сапоги. Пока раздевался, продрог. Взял тазик и, зябко ступая по холодному полу, направился к набухшей от сырости двери. Приоткрыл её и, не проходя дальше, остановился у порога, соображая, где бы примоститься. Из волглого горячего сумрака доносились голоса, гремели тазы, плескалась вода. И яростно шипел раскалённый зев заслонки. И тут кто-то тронул тебя за руку. Ты повернулся. В первое мгновение подумал, что это какой-то мальчишка. Но, увидев лысую, с одним ухом голову, узнал...

– Слыхали про вашу удачу, – сказал Сары Шая.

В бане ты стеснялся среди нагих людей. И сейчас, едва войдя, смущённо оглядывался по сторонам, прикрывая срам тазиком.

– Надеюсь, от богатого улова и нам кое-что перепадёт, хе-хе-е, – сказал Сары Шая. – Жадигержан, дело у меня к тебе спешное. Давай отойдём в сторонку.

Ты отпрянул было, но Сары Шая ловко встал перед тобой:

– Постой! Дело есть...

– Да ты в своём уме? Другого места не нашёл?

– Наоборот, самое удобное место...

Ты хотел было вырвать руку, но Сары Шая, сунув тазик между коленями, обеими руками ухватился за твою руку.

Вокруг вас сквозь серый пар мелькали чьи-то голые тела. Кто-то поздоровался. Какой-то верзила, с головы до ног в мыльной пене, повернулся на ваши голоса, прислушался, но, ничего не разобрав, вновь с ожесточением зашоркал мочалкой.

– Говорю же, очень важное дело есть.

– Что, горит у тебя?

– Да. Только не у меня – у тебя горит. Пошли отойдём туда.

Эх, так и подмывало тебя шандарахнуть тазиком по голой, как бабья задница, плешине. Но Сары Шая, как зверь, нутром чуял, что ты тут не посмеешь ничего такого сделать, и самодовольная ухмылка тронула его губы.

– Мне сказали, ты в бане. Вот я и причикилял сюда.

Стоило тебе стать председателем колхоза, Сары Шая зачастил к тебе домой. Едва войдя в дверь, начинал причитать «Родной ты мой» или «Дорогой ты мой», а матери – «Моя милая женеше». Лез в душу. Давал советы. Теперь этот родственничек тащит тебя нагишом через всю баню, протискивая между моющихся людей.

Оказывается, он выглядит-то по-человечески лишь тогда, когда на нём широкополая соломенная шляпа и одежда. С тех пор как в тот раз в Шалкаре в базарный день Упрямый Кошен в драке откусил у него одно ухо и выплюнул, у этого прохвоста и виду никакого не осталось. На одну голову – одно ухо. Тонкая шея на тощем теле. В одной руке тазик, другой рукой вцепился в тебя и тащит за собой...

– Сюда... Сюда! Здесь никого нет.

Наконец он привёл тебя в сумрачный закуток, где клубился пар. Сначала огляделся по сторонам, потом заговорил:

– Вот что, Жадигержан... Едет к нам из столицы знаешь кто?.. Ихняя опора...

– Опора?

– Да, ихняя... Слышишь, тебе говорю...

Сары Шая дёрнул раз-другой тебя за руку. Ты стоял, прикрываясь тазиком, сгорая от стыда. Из его путаной речи ты разобрал лишь: «ихний». Это значит Тлеу-Кабак, сильный, многочисленный род, коренные жители этого края.

– Да ты послушай. Послушай, говорю...

Сары Шая как бы ни тянул шею, как бы ни привставал на цыпочки, но до твоего уха не достигал. И тогда, обозлённый, мигом перевернул тазик вверх дном и вскочил на него. Так бывало всякий раз, когда ему предоставляли слово на собрании. Из-за трибуны еле-еле виднелась лишь макушка с жидкими волосёнками. И тогда он затравленно оглядывался вокруг, ища подставку под ноги. Но, не находя ничего подходящего, бесцеремонно выхватывал стул из-под какого-нибудь передовика труда, который восседал рядом с председателем в президиуме собрания...

– Так вот, слушай, приезжает из столицы этот... слышишь, тебе говорят, ихняя опора.

– Ну и что...

– О Аллах! Неужели не понятно тебе, ихняя опора едет не просто так.

Сердце твоё ёкнуло от какого-то смутного предчувствия.

– Как?... Как это не просто так?

– Как ты не понимаешь, земля ихняя, она-то принадлежит роду Тлеу-Кабак, мы с тобой пришлые. Хозяева-то они. Раз так, значит, вся сила в их руках, – он по-кошачьи горящими, немигающими, жёлтыми глазами впился в тебя, – у кого сила, тот и верховодит. Так было раньше, так и теперь. Они хотят нас придушить, как одинокий стебелёк ячменя посреди пшеничного поля. Да-да, дружок... Не смейся. Они не хотят смириться с тем, что не они, а ты руководишь колхозом.

– Брось! Сами ведь на общем собрании выбрали.

– Тогда они выбрали тебя в шуме да в суматохе, а теперь опомнились, спохватились. Теперь хотят прибрать власть к своим рукам.

– Брось...

– И бросать нечего! Полетишь... Ещё как полетишь. Вместо тебя поставят Заику! Дядю его!

– Ну хватит... Вздор это!

– Ничего не хватит! Если у Заики такой всесильный племянник, такая длинная рука в столице, он что – паршивым колхозом управлять не сможет?! Ещё как сможет!

– Вздор! Люди ведь не игрушки.

– Люди, дорогой, ныне покладистые, приручённые. Ими руководить – всё равно что машиной управлять. Много ли ума надо, если машина исправна и заправлена. Садись да крути-верти баранку. Она и побежит. Затарахтит под тобой.

Только что ты готов был взорваться от досады, от раздражения, а тут рассмеялся. Тебе явственно представился этот самый Заика-Быдык: горбоносый, чернолицый, всегда возбуждённый, с каким-то звероватым оскалом – ни дать ни взять верблюд-самец, готовый в пору гона яростно стоптать любого... Как он может руководить колхозом, если даже его бригада из десяти человек стоном стонет и чуть не каждый божий день строчит тебе жалобы, умоляя: «избавь нас от него, замучил, сил нет...»

Однажды, после очередной жалобы, ты, пригласив его к себе, резко поговорил с ним: дескать, с людьми ты груб и жесток, не умеешь руководить... Не успел ты ему толком это выложить, как он вместе со стулом придвинулся к тебе вплотную и, брызгая слюной, заикаясь пуще прежнего, завёлся с ходу: «Я... я, говорю... Отменно работаю, говорю. То-только э-эти... говорю, п-п-почему-то всегда не-до-додовольны, говорю!..»

Впрочем, что тут невозможного? Захотят – и Заика-Быдык в два счета баскармой заделается. Что колхоз! Кто только не возглавлял наш несчастный народ! В последние годы тебе не раз приходилось бывать перед разными начальниками. Ты чуть ли не со слезами на глазах толкуешь им об обмелевшем море, о бедах народа, а они хоть бы бровью повели. Послушав молча, выпроваживают с необременительными для себя словами, вроде того что «подумаем», «по-советуемся». Сары Шая прав: народ нынче особенно не утруждает начальство, даёт собой править каждому, кому не лень, как «машина, которая исправна и заправлена...».

В это время кто-то плеснул воду на раскалённые докрасна камни. С шипением взвились клубы пара, заволакивая Сары Шаю в ту самую минуту, когда он, собираясь, видимо, ещё что-то сказать, потянулся к тебе. Из облака пара слышался его надтреснутый голос, словно из неисправного радио. Ты вырвал руку и уже не подпускал дядю к себе, отмахиваясь тазиком. Наспех помылся. Торопливо оделся. Боясь, что назойливый родственничек опять возникнет рядом, не стал дожидаться, пока обсохнешь. Вышел на улицу. Вздрогнул от студёного ве-

тра. Быстренько схоронился за угол бани. Только тут обнаружил, что второпях не успел даже застегнуть все пуговицы. Потянулся было рукой к ширинке, да так и застыл, подумав: «Интересно, по какому делу он едет?» Как ни пытался не думать об этом, но всё чаще вспоминалась недавняя поездка Бакизат в столицу. И застрявшая занозой мысль тревожно влезла тебе в душу. И уже у самого порога дома, протягивая руку к двери, ты опять застыл в недоумении: «Какая забота гонит его сюда?»

Ты не стал входить в дом, присел на ступеньку у порога, поставив рядом с собой тазик с грязным бельём. Усмехнулся. Он едет, конечно, вовсе не для того, чтобы притеснять немногочисленный в ауле род жакаимов, «задушить их, как ячменный стебелёк на пшеничном поле». Но тогда, скажи на милость, какая такая забота могла вдруг сорвать его с тёплого места и погнать в далёкий глухой аул в неудобную пору предзимья.

Правда, как ни вознёсся высоко, Азим не забывает о своём ауле. Раз в год навещает родные края. Но... прежде он наезжал только весной, когда степь полыхала тюльпанами и воздух был настоян на терпкой горечи молодой полыни. Апырай, а?! Может, на самом деле едет неспроста. Неужели, когда она была в столице, могли... что они могли?..

Ты не спешил в дом. Сидел, остывая после бани, и удивлялся Сары Шаю... Интересно всё-таки, откуда он мог прознать... Носится, шныряет по аулу пронырливым псом. А как ему приспичило... вскочил на перевёрнутый тазик... Собрания – вот истинная его страсть. Вот куда притащится раньше всех. В прения записывается первым. И по ходу собрания то и дело вскакивает по всякому поводу, да и без повода тоже. Как бы там ни было, каждый раз, когда он брал слово, зал оживлялся и по рядам проносился смешок. Тебя он не трогал. Зато не было случая, чтобы он не напал, куражась, на председателя профкома. На последнем собрании Сары Шая особенно кричал на профорга – будто бы тот прикарманил профсоюзные взносы. А путёвки в санатории и дома отдыха, мол, распределяет между своими братьями и сватьями. «О, – вопил Сары Шая, – в былые времена таких, как наш “профком”, без суда упекли бы туда, где круглый год на собаках ездят...» Много разных небылиц и кривотолков о Сары Шае. Одни предпочитают держаться от него подальше. Другие точат на него зуб. А без него никак не обойдутся, ибо в рыбацьем ауле никто не может так ловко, как Сары Шая, настроить жалобу, прошение, акт какой-нибудь и прочие бумажки. Народ и ныне помнит, как Сары Шая, войдя в раж, чесал, как по газете, «сталинский золотой закон» промысловикам. Рыбаки только диву давались: «Ох, и башковит, дьявол! – говорили. – На лету хватает всё. Только Создатель здравого смысла не дал...»

Зато язык подвешен. Во всём приморье самый находчивый – он. Самый красноречивый – он. Самый знающий тоже он. Только никому не ведомо, где, когда и сколько он учился. В былые времена люди похвалялись друг перед другом знатностью своего рода, заслугами предков, славой священных духов – аруахов. А ныне их потомки в стремлении перещеголять друг друга начинают выяснять, кто больше проучился и кто что закончил. И вот однажды аульная молодёжь затеяла спор о том, кто больше преуспел в науках. Сары Шая заявил: «А я лично окончил КулНСШ...» Молодёжь расхохоталась, уразумев, что КулНСШ не что иное, как Кулундинская неполная средняя школа, что находится отсюда на расстоянии ягнячьего перегона. А старики от удивления рты разинули.

– КулНСШ? О таком институте мы и слыхом не слыхивали. Надо же, а? Видать, даром все его акты, прошения маху не дают.

– Ойбай, не говори! И рука у него лёгкая, и перо бойкое. Недавно мне бумагу написал, и что же ты думаешь: сработала. Наповал сразила, как стальной клинок...

Обычно отлынивавший от любого серьёзного дела, он, однако, охотно откликнулся на просьбу земляков составить прошение, заявление, встречный иск, кассационную жалобу или акт. Глаза загорались кошачьим огнём. На кончике слегка приплюснутого носа выступала испарина удовольствия, будто он потягивал у огня душистый индийский чай, настоящий на гвоздике. При виде того, с каким азартом и рвением он брался за дело, проситель, воспрянув духом, молил Бога:

– О Аллах, поддержи нас!..

* * *

– Апа, что, дочурка не пришла ещё из школы?

– И она что-то задерживается.

– Занятия вроде давно кончились, апа.

– Кто знает, может, увела её к себе твоя тёща. Да, видимо, так оно и есть. Старая хрычовка ещё с пелёнок прибрала её к рукам, приручая её, вбивая малышке в голову, что она – женщина, потому должна на людях блистать своими нарядами...

– Послушай, сынок...

Ты поднёс было ко рту пиалу с остывшим чаем, но, услышав голос матери, поднял голову. Взгляд твой уткнулся в самовар, а маленькую сгорбленную старушку, которая сидела за старым медным самоваром, подобрав ногу и оперев подбородок о колено, ты увидел потом.

– Мне ли не знать, каково жить в рыбацком стане. Дай-ка, сынок, пиалу. Чай у тебя остыл.

Ты понимал, сдержанная по натуре мать чует сердцем, что тебе несладко приходится не только у себя в доме, но и тогда, когда ты там, вдали. Знает небось и то, каково бывает тебе и твоим рыбакам в камышовой хижине в ненастные декабрьские ночи.

– Сородич твой непутевый в баню приходил... Искал меня.

– Что ему приспичило?

– Да как всегда...

– Держись ты от него подальше. Дай пиалу! Что ты молчишь? Рассказал бы матери о делах своих.

– Апа, на этот раз мы с удачей вернулись. Вот заработанные деньги, возьми!

– Зачем они мне? Отдай жене. Я и те, что ты в прошлом году дал, не трогала. Две красненькие да три синенькие, сколько будет?

Ты расхохотался, как в прежнее время, когда под этой крышей ещё царили согласие, уют и лад. Но мать, не терпевшая легкомыслия ни в чём, сурово сдвинула брови.

– После того, как я умру, живи как знаешь. Пока я жива, каким бы богом для тебя ни была твоя баба, но чтобы я больше не видела, как ты сажаешь её себе на голову.

– Что с тобой, апа? Вспомни, сама ведь молчала, когда покойный отец всю жизнь сажал тебя на свою голову.

– Ишь, негодник, на чём мать хотел подловить! Разве тебя с твоим отцом сравнишь? А меня разве сравнишь с твоей жёнушкой? – сказала. Потом, чуть помедлив, продолжила: – Бог не прибрал меня, потому приходится вместе с вами встречать солнце и провожать солнце, да и только. Всё собиралась, да никак не могла улучшить время поведать тебе одну вещь, сынок.

– Да, апа...

– Дай пиалу!

И прежде, бывало, мать с сыном говорили наедине друг с другом о том о сём. Однако, похоже, на этот раз разговор будет совсем о другом.

– Нынче многое уму нашему недоступно. Не понимаю, или чрево у нынешних баб стало иное? Не говоря уже о чужих детях, от своих собственных расплодилось нынче непонятное нам племя. Вроде ты знал свою мать. Она не любила жаловаться.

«Неужели кто из детей обидел?..» – встревожился ты.

– В наше время надо всем властвовали человеческие руки, а в ваше время властвует железо. Ездите нынче на железе. Летаете на железе. В доме тоже всё железное. Даже вон тот ваш неумолчный ящик-говорун, что и днём и ночью собирает сплетни со всех концов света, – и тот железный. Коли вы поклоняетесь железу и зависите кругом от железа, где уж там сыскать место для человеческого милосердия? А когда всю душу и тело сковали железом, горе тому, кто не наделён железным норовом...

Старая мать отвернулась и, зажмурив глаза, сотрясалась в беззвучном смехе. К чему она?.. На что намекает, говоря, что век нынешний становится неумолимым и жёстким, как железо? Или... пока ты был в отъезде, кто-нибудь из домашних?..

– Апа, тебя никто... не обидел?

– Глупый, кто посмеет обидеть меня? Жена твоя? Или тёща?

– Откуда мне знать.

– Не знаешь, так и помалкивай. Пока жива, сама как-нибудь за себя постою. А если и обидит, то тебе всё равно не пожалуюсь. Моя речь о другом.

– Слушаю, апа...

– Мы тоже немало мыкались в этом море. Помню, как в разгар путины красной рыбы-усача и осетра выходили в открытое море и располагались станом на том берегу, где не было пресной воды. Ты можешь не поверить, но, знаешь, сынок, когда нас томила жажда, двое усаживались на берегу моря друг против друга, копали, выгребая песок в четыре руки, и появлялась чуть солоноватая, но чистая, прозрачная вода, годная для питья. А теперь в тех местах не сыщешь ни капельки, чтобы смочить нёбо.

– Да, апа, с тех пор как обмелело море, подземные воды ушли вглубь.

– Ой, не говори, нынче не только приморье оскудело, но даже пастбища в степи покрылись солончаками. Ездил я летом в аул верблюжатников, видела по дороге, как колодцы повысыхали, а изъеденные солончаком травы выгорели до черноты. Божья кара за наши прегрешения, не иначе.

– Бог тут ни при чём.

– Тайт, негодник! Вы, безбожники, прогневили Создателя! И зло на земле, и добро творится только по воле Аллаха.

– Ладно, пусть будет так. Но вот послушай: один большой учёный недавно доказал, что уровень моря и подземных вод всегда зависят друг от друга.

– Сказал тоже! Это и мы, неучёные аульные бабы, знаем.

Мать сегодня совсем поразила тебя. Настроена необычайно решительно, говорила резко, как в лучшие свои годы, когда ни один мужчина в этом краю не осмеливался ей перечить. Высокий жаулык гордо венчал её голову. И сама она уже не горбилась за самоваром, а сидела прямо, разговаривала с сыном уверенно и властно. Сильный и полнозвучный её грудной голос, как в былые времена, не допускал возражений:

– Если они такие всевидящие, скажи, почему не видят, как тут дети и бабы всё лето, громыхая вёдрами, мечутся по степи в поисках воды для питья? На днях приезжала жена старика Адая...

– Они что, ещё на летовке?

– Не перебивай! Нашли, говорят, в верховье какое-то заброшенное становище, старики сами подладили малость, и вот теперь уютятся в нём три семьи. Хорошо, что семижильные, всё вынесут. Всё стерпят. Жена Адая говорит: «Нам-то что, проживём остаток жизни как-нибудь, а каково взрослым детям без работы сидеть?» И то верно. Разве можно человеку без работы? Вот ты в городах бываешь, с начальством разным там встречаешься. Почему не говоришь им, умникам, какая тут пошла нескладная жизнь?

– О боже... И ты ещё...

Вспыхнув от досады и негодования, ты ударил себя кулаком по колену. Было бы кому слушать всё, что ты говорил! Однажды Ягнячье Брюшко вывел тебя из равновесия, заладив своё обычное: «Рыба! Где рыба?» Ты в таких случаях всегда отделялся молчанием, а тут неожиданно для себя вдруг прорвало: «На активе говорим о рыбе. На всех собраниях, совещаниях опять говорим о рыбе. На рыбе свет клином сошёлся. А люди, а море? Почему о них не говорим?» Ягнячье Брюшко грохнул кулаком по столу так, что подпрыгнула пепельница и рассыпались окурки. В клейких глазах его вспыхнула злость: «Ты, товарищ, говори, да не заговаривайся! За такие слова, знаешь, придётся тебе кое-где ответ держать».

– Разве я не говорил... Не требовал от них?..

– Представляю. Небось мямлишь перед ними, не смея поднять глаза.

– Что ж, апа... – попытался ты отшутиться, – сама на себя пеняй, коль родила такого сына.

Мать смерила тебя строгим взглядом:

– Выходит, и тут моя вина, что произвела тебя таким? Ловко! Какой матери ведомо, кого она вынашивает в своём чреве? А я тебя родила лобастеньким, крепеньким. Откуда могла знать, что ты вырастешь и пойдёшь по стопам этих недотёп из рода Жакаимцев, промышляющих рыбу в солёном озере? – Мать залилась смешком...

– Что поделаешь, апа...

– Народ, как малое дитя, он прежде всего в тебе опору ищет. Вот ты и встрепнись. Укажи, куда идти, поведи их!

Мать вдруг осеклась, прислушалась, выставив из-под жаулыка ухо. За домом послышался нарастающий цокот копыт о мёрзлую землю, и ты в который раз подивился её острому слуху. Путник резко осадил лошадь. Спешился. Распахнулась дверь, и кто-то огромный, в мерлушковой шубе, в мерлушковой шапке, входил вроде бы запросто, вразвалочку, как к себе домой. Но, перешагнув порог, глянув себе под ноги, вдруг, упираясь головой в потолок, застыл в явном замешательстве.

– А-а, жезде... Проходите, – сказал ты.

Могучий, грузный человек, по-зимнему одетый, с места, однако, не сдвинулся. Стоял, сердито бурча что-то себе под нос и всё ещё настороженно глядя под ноги, на поблёскивающий лаком гладкий пол.

– Ну что же вы, почтенный жезде, застыли у порога?

Гость всё ещё стоял, ухватившись обеими руками за косяк.

– Заладил: «проходи» да «проходи»... А как тут пройдёшь? Добро бы под тобой привольная земля была. А тут, черт знает для чего, обшил пол обструганными досками да ещё маслом каким-то помазал...

Ты, смеясь, подошёл к гостю, взял под локоть, и только после этого старик перевёл дух, выпрямился во весь свой богатырский рост и облегчённо крикнул:

– Апырай!.. В этот дом впредь без подков, пожалуй, и не сунешься...

Каждый раз, наезжая сюда, старик проходил в комнаты, лишь за кого-нибудь ухватившись, и то с трудом, осторожно переставляя толстые, как брёвна, ноги.

Дети рыбацкого аула всегда радовались приезду добродушного, широколицего, по самые скулы заросшего густой сивой бородой старика. И всегда было потешно глядеть, как этот великан неуверенно, негодуя на хозяев, поругиваясь и качая головой, ступал по крашеному полу, будто верблюду по льду.

– Делать тебе, вижу, нечего. Вот потому ты с матерью с утра до вечера и вылизываешь этот пол.

Старика в рыбацком ауле любовно и почтительно именовали «жезде», то есть зятем, потому что жена его была из местного рода, а сам он из пришлых, из воинственного, вечно мятежного племени адайцев, искони обитавшего на полуострове Мангистау.

Старик прямо в верхней одежде пробрался на почётное место, заполнив собой всё пространство комнаты. И только теперь, не торопясь и по-стариковски кряхтя, стянул с себя шубу. Затем снял тяжёлый треух. Потом уж разулся, сбросил такие же громоздкие, как сам он, сапоги. А стянув их, опять застыл в нерешительности, держа их на весу и не зная, куда бы пристроить их в этом чисто вылизанном доме.

– Давайте сюда, – с ласковой усмешкой сказал ты.

Гость небрежно сунул тебе сапоги, шумно перевёл дыхание, повёл вокруг взглядом, словно только теперь заметил за медным самоваром маленькую старушку в белом жаулыке.

– Как живётся? В силе, во здравии?

– Не спрашивай. Наша жизнь теперь известная; и сидим – слава Аллаху, и стоим – слава Аллаху.

– Вроде не в духе? А?.. – Гость приставил козырьком ладонь ко лбу. – Дети случайно не обижают?

– Э, оставь их! Пусть только попробуют обидеть меня. Они разве могут кого обидеть? Что-то давно тебя не видать. Всё ли благополучно в доме? Здорова ли наша девка?

– Состарилась ваша девка. Постель не греет. Теперь вот езжу, присматриваю в роду Жакаимцев молодуху с зубами покрепче, да и рожей поглаже. – Гость, задрав сивую бороду, зашёлся смехом.

– Блудливое вы племя, мужики. Смотришь, еле-еле душа в теле, а глаза всё по сторонам шныряют. Тьфу!

Двое соседских мальчишек, заскочивших вслед за ним в прихожую, всё ещё стояли, прижимаясь к косяку, и тарасили на гостя любопытные глазёнки. Их всё восхищало в этом горою восседавшем на полу, на белой кошме с нашитыми по ней бархатными узорами, человеке. Восхищало детей то, как он говорил рокочущим утробным голосом, и то, как хохотал, трясясь могучими плечами, показывая крепкие, один к одному, зубы; и уж вовсе приводило в восторг, когда он, запуская пятерню в густые, от самых скул до горла, заросли бороды на широком лице, расчёсывал её так буйно, что борода трещала под пальцами. «Гляди! Гляди!» – толкали друг друга ребятишки, даваясь от смеха. Гость ловил их взгляды и тоже улыбался.

В этих краях он объявился ещё в годы коллективизации. В молодости, поговаривали, был лихим конокрадом. Неделями с седла не слезал, потник под ним не просыхал. В одиночку, точно матёрый волк, рыскал по безлюдной степи. И вот однажды, рассказывают, ехал неспешной трусцой по пустынному плато между Каспийским и Аральским морями. И тут выскочил из-за холма всадник. Почувяв, как под ним забеспокоилась лошадь, адаец, однако, не обернулся, лишь покосился и увидел верхового, громоздившегося на поджаром сильном коне. На всаднике серый чекмень из верблюжьей шерсти, от длинного рукава

которого свисал дойр – толстая разбойничья плеть со свинцовой прожилкой. Адаец насторожился, покрепче сжал рукоять своего дойра, тоже запрятанного в рукаве. Тёмный, с изрытым оспой лицом, всадник сидел в седле как влитой. Приблизившись, перевёл коня на шаг. Медленно подъехал, оценивающе глядя в упор маленькими, точно буравчики, холодными глазками. Адаец не дрогнул, выдержал этот сверлящий змеиный взгляд... Двое бесстрашных конокрадов, привыкших в своей жестокой жизни почитать лишь силу с удалю да быстрые ноги коня, перекинулись при той встрече всего лишь несколькими словами, но, говорят, этого было достаточно, чтобы разойтись мирно, неведомо как успев проникнуться друг к другу братскими чувствами. Прошли годы, и лихая беда вынудила отчаянного адайца покинуть родной край. Не зная, куда преклонить свою буйную головушку, вспомнил он рябого верзилу с холодными змеиными глазами, с которым когда-то столкнула его судьба в безлюдной степи между Каспием и Аралом. Припомнил, как тот бросил на прощание: «Если понадобится – найдёшь меня на западном побережье Арала». Вспомнил, что звали змеиноглазого, кажется... да, Кален. И вот долго ли, коротко ли, но разыскал адаец Калена, а там и жену себе нашёл из рода Жакаим, очаг свой заимел. Маленькая, чуть не по пояс ему, смуглянка нарожала адайцу кучу детей. Но выжили из них всего четверо. Потом, в годы коллективизации, адаец с Каленом, загоревшись надеждой, одними из первых вступили в колхоз. Первыми обзавелись лодками и рыболовными снастями. Зимой и летом пропадали неразлучные друзья на море в погоне за нелёгкой добычей, и никто в те времена не мог – ни на этом, ни на том берегу моря – тягаться с ними в умении промышлять рыбу.

Да, прошли годы, и нет уже в живых удачливого на руку Калена. Состарился и адаец. Четверо сыновей, таких же рослых и крепких, как отец, давно возмужали, трое из них обзавелись семьями. Ни один из детей адайца в своё время не проявил рвения к учёбе. Едва закончив семилетку, уходили со школьной скамьи в рыбаки, принимая из рук состарившегося отца вёсла и сети. Но вот настигла всеобщая беда, далеко ушло от берегов море, рыбы не стало, а другой работы, к которой бы четверо сильных джигитов могли приложить свои руки, в этом крае днём с огнём не сыщешь. Ради адайца и ещё двух-трех почтенных стариков, которые когда-то организовали здесь колхоз, ты сумел создать верблюдоводческую ферму. С тех пор прошло два года. И ты при каждом удобном случае не забывал заезжать на их становище в степи, вовремя доставлял продукты. Дорожа твоим вниманием, старики-верблюжатники в тебе души не чаяли. Особенно привязался к тебе своим сердцем старик-адаец. Едва заслышав, как приближается, грохоча разболтанными железками и досками кузова, старый грузовик, адаец бросался к юрте. Окликал свою старушку:

– Эй, где ты!.. Пошевеливайся, затопи очаг, мясо в котёл положи! А ну, давай-давай! Слышишь, родич твой едет!

И сам суетился, бегал, доставал из тюка атласные подстилки и подушки. Обычно молчаливый, громоздкий, не склонный к шуткам старик при тебе оживлялся, становился разговорчивым, настраивался на развесёлый лад: «Небось я не единственный адаец, окрутивший девку из рода Жакаим. И до меня наши деды с вашими бабками шуры-муры заводили!..» – и сам первым хохотал, колыхаясь всем телом.

В прошлом году старики застряли на летовье до поздней осени. Ты был в отъезде. А когда вернулся, наступили холода, выпал первый снег, ты заспешил к ним, зная, каково семьям верблюжатников на становище под пронизывающим степным ветром. Тебе было трудно оправдываться перед ними, ты путался, не находил веских слов, и тогда старик-адаец, добродушно хохотнув, поспешил тебе на выручку.

– Что ты, дорогой Жадигер! Ты приехал как раз вовремя. Ещё не было случая, чтобы ваш жезде съезжал отсюда, пока его благоверная не подморозит разок-другой свою задницу.

Рядом с ним, с его неистребимым жизнелюбием, порой и ты забывал про всякие житейские неурядицы, чувствовал себя как-то свободнее, легче, будто часть твоих забот старик-адаец брал на свои могучие плечи.

– Ну, рассказывайте, жезде, – пригласил ты старика к беседе, поглядывая на него потеплевшими глазами.

Но старик был сегодня явно не в духе. Сунув под бок большую пуховую подушку, возлежал горой, громоздясь на подстилке, молчал. Ты знал, что он приехал посоветоваться, дескать, о нас-то, стариках, ты позаботился, нашёл для нас забаву, организовал ферму верблюдоводческую, ну, а как, мол, быть с моими сыновьями?

Ты терпеливо поглядывал на старика. Но тот, насупленный, всё чего-то тянул, и лишь когда мать расстелила перед ним дастархан, поднял голову.

– Подождёшь, и мясо сварю. А пока довольствуйся тем, что сготовила сноха. Дети это любят. Называется то ли банта, то ли панта.

– Надо же, а?! – поразился старик, недоумённо подняв кустистые брови с торчащими из них в разные стороны толстыми, будто конскими, волосками. И, чуть отогнув краешек дастархана, придвинулся к чаше. – Банта, говоришь? Выходит, это не наша еда?

– Нынче ведь всё перемешалось – и еда, и нравы.

– Да, у казахов такой еды нет... – Старик всё ещё с недоверием разглядывал неведомое ему блюдо, которое смахивало на выловленных из воды серых мышек. Он проголодался с дороги, да и не в природе степняка церемониться за дастарханом, однако непривычная еда, вызывая подозрение, смущала.

– Что-то в тесто завернутое, а? – обратился он к старухе. В глазах его сквозили любопытство и детское замешательство.

– Да так себе... на один зуб...

– Придумают же, а?! – покачал головой старик. – Я ведь тесто не жалую. Так... как называется, говоришь?

– А бог знает! Дети вроде банта называют.

– Нет, это не манты, а пельмени, с начинкой, с мясом, – вмешался ты в разговор.

Гость недоверчиво уставился на тебя:

– С мясом, говоришь?

– Да, жезде, начинка мясная. Очень вкусно. Пельменями называется.

– Былмен, значит?! Апырай, а... Былмен-н?!

Уговоры, видимо, подействовали, и старик несмело потянулся рукой к чаше. Большими негнувшимися пальцами подцепил с краешка паром исходящую пельменину покрупнее, так и сяк покатав её на ладонях, остужая, оттягивая момент, когда надо будет это есть. Похоже, ему упорно мерещился мышонок, ошпаренный кипятком. Чтобы отделаться от наваждения в брезгливости своей, пальцем расковырял пельмень, выколупнул начинку и поднёс к ноздрям, принюхался, желая удостовериться, что это именно мясо. И в запахе почудилось ему нечто подозрительное: «Апырай, как бы не отравиться», – так, должно быть, подумал он про себя. И некоторое время сидел, озадаченный, и вдруг неожиданно сказал:

– Подай-ка мне миску!

– Зачем? Стоит же перед вами тарелка.

– Мне ещё посудина нужна!

Ты достал из шкафа тарелку размером побольше и поставил перед гостем.

«Интересно, что это он задумал?» – с недоумённой улыбкой переглянулись вы с матерью. Старик решительно подвернул рукав. Не было ему дела до хозяев, которые следили за каждым его движением. Спокойно набрал из большой чаши полную тарелку пельменей, придвинул к себе и начал сосредоточенно и не торопясь потрошить по одному исходившие паром пельмешки. В одну тарелку складывая начинку, а в другую – тесто. И когда наконец на тарелке собралась порядочная-таки горка мясной начинки, старик шумно перевёл дыхание и вытер тыльной стороной ладони пот со лба. Должно быть, таким утомительным делом ему ещё никогда не приходилось заниматься. Сомнения, однако, и теперь не покинули его. Поднёс тарелку попеременно то к одной, то к другой ноздре, втягивая в себя островатый дух прокрученного через мясорубку, приправленного луком и перцем мяса, – и потом принялся есть. Ел варёные комочки фарша, запуская всю пятерню в тарелку и отправляя в рот горсть за горстью. Казалось, глотал курдючное сало молодого барашка. Огромный кадык ходил ходуном, и мясная начинка с глухим и каким-то даже жалобным писком мигом исчезала, проваливаясь в бездну его утробы.

Пока гость потрошил пельмени, ты, уронив голову на грудь, с трудом сдерживал распивавший тебя смех. А когда он, хлюпая и чавкая, за обе щёки принялся уплетать фарш, ты сделал вид, будто закашлялся. Но старик, казалось, ничего вокруг не замечал. За едой он вообще не имел привычки озираться по сторонам и тем более прислушиваться к чьим-либо мнениям о себе или досужим разговорам. Расправившись с содержимым тарелки, разом выпил остаток бульона, со стуком отставил её и утёрся:

– Былмен, значит... И название-то потешное. Былмен-н... Был-мен... Ты что, мать заставляешь жевать? А сам только глотаешь? Зубы свои, что ли, берёжешь? Тоже мне. Придумал еду! Ещё чем-нибудь угостишь?

– Чаем напоим.

– Спасибо! Если больше ничего не дашь, чай и дома попью. Ну, будь здоров!

– Как это, жезде?! Вы же, думаю, по делу зашли?

– Дело, конечно, есть. Но ты, вижу, и сам с дороги. Так что с делом приду к тебе попозже, в контору... – сказал старик, вновь с опаской глядя на блестящий лаком пол.

Ты помог старику дойти до прихожей, обуть сапоги, надеть чапан. Потом провёл до лошади, посадил в седло.

* * *

Вернувшись, начал просматривать газеты, накопившиеся за месяц, скользая больше взглядом по заголовкам. Толком не вникал в то, что мелькало перед глазами. Однако оставалось очевидным, что и за этот месяц, пока вы находились у устья Сырдарьи, мир не обрёл покоя, напоминая очаг, напрочь лишённый тепла и доброй тяги.

Вот ещё одна мусульманская страна, пока ты на той стороне моря мыкался со своими рыбаками, подняла восстание, и раззолоченный трон шаха полетел вверх тормашками. Бог весть сколько времени правили страной шахи, отныне ею решили править муллы. Но тебе-то хорошо известно, что, если в твоём ауле за дело берётся мулла, добра и толку не жди...

Неизвестно, сколько пролежал ты так на диване. Газета, вмещавшая на четырёх страницах боли и тревоги всех четырёх сторон белого света, вдруг будто отяжелела. Зарябило перед глазами, шрифт подёрнулся туманом, помутневший мир начал уплывать, удаляться куда-то, и газета, шурша, выпала из рук. И, сам уплывая из мира, ты бессильно уронил руку и тут же вздрогнул, открыл глаза. Почудилось, кто-то вошёл в дом. Еле уняв сердце, ты поднял упавшую газету.

Потом прислушался к примерещившемуся тебе в тишине шороху. Шорох из-за приоткрытой двери напомнил чьи-то лёгкие шаги. Ты напряг слух, но он больше не повторился. И всё же тебе чудилось, будто кто-то притаился за дверью и не осмеливается войти в комнату. Может, Бакизат?.. Смущённая своим поздним возвращением, стоит за дверью?

Ступая на цыпочках, ты подошёл к двери. Никого... пусто во всём доме. Но ты знал, что, кроме Бакизат, вся семья в сборе. Дочка давно пришла из школы. Дома и сын. И мать.

Ты невольно поднёс руку к сердцу. Вот ещё напасть. В последнее время стоит тебе чуть расстроиться, сердце не замедлит напомнить о себе. Вот и сейчас ни с того ни с сего сдавило, точно кто-то пробует его тупым шилом.

Растирая ладонью левую сторону груди, ты думал о дочери. Тебе жаль её. С каждым годом твоё дитя всё больше и больше становится похожей на тёщу. Ты не знал, плакать тебе или смеяться, когда видел, как дочурка идёт рядом с ней, плоть от плоти твоей, похожая как две капли воды не на тебя, не на Бакизат, а на тёщу. И разнаряжена точь-в-точь, как она, и держит себя точь-в-точь, как тёща. С присущей детям восприимчивостью, с какой-то поразительной сноровкой, с прилежанием, она, сама ещё совсем крохотулька, на лету схватывала и в точности копировала всё-всё, вплоть до малейших, незаметных для постороннего глаза повадок и манер старой щеголихи. Если та, щеголиха, ступала павой и повиливала задом, то и бедное дитя с поразительной точностью повторяло каждое её движение. Если та, преисполненная сознанием собственного достоинства, шла, не оглядываясь по сторонам, по привычке далёкой молодости вытянув шею, чуть выпятив вперёд подбородок, то и она, малышка, мельком скосив на неё взгляд, мигом вздёргивала и свой подбородочек.

Как-то попытался ты поделиться своими опасениями с Бакизат, но та сразу вскинулась на дыбы.

- Вечно моя мать тебе кажется исчадием ада. Всё в ней тебе не по нутру!
- Скажешь тоже! Я же о нашем ребёнке. Ты ведь сама педагог.
- Выходит, по-твоему, моя мать до сих пор не дочерей, а кукол воспитывала?!

Вот-вот, теперь-то ты вспомнил, в тот день Ягнячье Брюшко дал тебе очередной «профилактический» нагоняй. «План! Где план?» – орал он; ты вышел из райкома весь в поту, удручённый и злой. Брёл по кривым пыльным улочкам Аральска, подошёл к торговому центру. И тут твоё внимание привлекла нарядная куколка за стеклом магазина, до того поразительно похожа была эта кукла на твою дочку, что ты даже замер на месте. Такой же ослепительно белый, выглаженный фартучек. Такие же белые бантики. Чёрные волосы, расчёсанные до блеска. Длинные ресницы, полувопросительно загнутые. А губы-то, губки! Будто две застывшие сочные вишенки. Да, искусные руки старой щеголихи, безупречно владевшей магической тайной воспитания девочек-куколок, по всему видно, и на сей раз сработали без промаха. И когда, в довершение всего, те же искусственные ловкие руки, прихорашивая, приглаживая, что-то ещё там прищипливали, прикалывали, прилаживали, то даже ты, отец родной, не узнавал в расфуфыренной куколке собственную дочь...

– Вот-вот, дорогая. Ты сама сказала то, что я не решался. Дочка наша становится настоящей куклой.

– Не наговаривай! Скажи спасибо моей матери, что девочка растёт воспитанной и благонаправленной. Будет тебе известно, моя мать воспитала меня, моих сестёр... Или хочешь сказать, что я тоже кукла?!

– Нет, я этого...

– Не сказал, но так думаешь! Впрочем, как хочешь, так и думай. Моя мать не чета иным долгополым неряхам-старухам этого аула.

– Вон оно как! Выходит, в числе тех долгополых нерях и моя мать?

– Бог ты мой, его мать! А ты на меня глазами не сверкай.

Ты, не находя слов, задохнулся от гнева. И тут скрипнула дверь у тебя за спиной. И Бакизат, и ты обернулись. Из-за медленно приоткрывшейся двери сначала показалась женская сумка, с серебряным ободком, со звонко щёлкающим замочком. Вслед за сумкой не спеша вошла она... хрычовка. Но, сделав шаг, остановилась у порога. Глянула на раскрасневшуюся, возбуждённую дочь. Потом на хмурого зятя, и из-под жёстких, как иглы, ресниц мелькнула злорадная усмешка.

– Почему так мрачен Передовик Труда?

Ты махнул на всё рукой и уехал к устью Сырдарьи. И вот теперь, спустя месяц, вернулся оттуда, как всегда исхудавший, обросший, истомившийся по жене и детям.

Ты горько усмехнулся. Всё словно в той песне: «Жизни конец, как старой шкурки лоскут, изгрызен псами». Помнится, отец в час печали, задумчиво перебирая струны домбры, прижатой к груди, всегда в одном и том же месте негромко хмыкал, бывало, и ещё тише, как бы про себя, повторял эти грустные строки. Да, так уж устроен бранный мир, что всё в нём имеет свой предопределённый конец. Всегда никчемный, жалкий и печальный.

Ещё недавно плескалось, ревели перед аулом безбрежное синее-синее море, и ну-ка, скажи, что суждено увидеть твоим потомкам через одно-два поколения, если уже и тебе выпала скорбная участь застать начало его агонии? И ведь началось это совсем недавно, вскоре после войны. Если за столь короткий срок в подлунном мире обмелело море и где-то ещё усохло и усыхает столько озёр и рек... Скудеет земля. Отравлен воздух... То, может быть, в самом деле недолго осталось до того самого конца света, который предрекают старцы аула?

Вон, у ног твоих покорно лежит твой след. Странно, как, однако, этот след похож на неуверенные переступы загнанной лошади, рухнувшей под путником. Только сейчас тебе по-настоящему ясно открылось, что во всём последнем, что происходило с тобой, не было и не могло быть никакого будущего. Есть только прошлое, навек минувшее, невозвратимое. Как одержимый, метался ты всю жизнь, зимой и летом, по этому морю за рыбой. Обременённый заботами, невзгодами и нескончаемым человеческим долгом, ты до сих пор не имел возможности и на минуту оглянуться по сторонам. Всё то, чем жил вчера, напрочь забывалось сегодня. И радости, и горести прожитых лет исчезли за суетой и хлопотами, будто запропали неведомо куда, неведомо где, словно медяки, вывалившиеся из дырявого кармана. И вот очутился, наконец, ты на открытом всем океанным ветрам, скованном льдом пустынным море, перед рыбачьим аулом. Стоишь теперь один-одинёшенек, точно отбившийся от косяка старый кулан. Стоишь, и в горестный час покаяния и позднего сожаления в голову тебе лезут неотвязные мысли, одна докучливее другой. Всё давным-давно прошедшее и позабытое сейчас вновь оживало длинной вереницей воспоминаний. Но, ожив, они, эти воспоминания, почему-то вместо радости принесли тебе одни горести, печали, бередили, терзали, рвали твою душу, как голодные щенки рвут сосцы отощавшей суки... Нет, ты не стал отмахиваться от них. Наоборот, с каким-то необъяснимым мстительным чувством весь отдался им, как бы даже злорадствуя: ну вот, жрите, рвите, терзайте! – отдался, испытывая болезненное и жутковатое наслаждение от невыносимой, самим собою распяемой боли.

* * *

С улицы донёлся топот копыт. Собаки захлебнулись лаем, будто готовые растерзать кого-то, но вдруг разом умолкли. Ты поначалу рассеянно вслушивался, потом неожиданная догадка точно подкинула тебя на диване, и ты бросился к окну. И, вытянув шею, приник к холодному стеклу. Ранние зимние сумерки уже сгустились за окном. И ты, сколько ни вглядывался, всё же не увидел ничего. Только спустя какое-то время смутно проступил большой дом на той стороне улицы. Там оживлённо. Все четыре окна большого дома ярко освещены. За лёгкими шторами мелькают, то появляясь, то исчезая, человеческие тени. Особенно людно перед домом. Вот кто-то, спотыкаясь, бросился к воротам, распахнул их настежь. Другой, суетясь и тоже спотыкаясь, ввёл во двор под уздцы лошадь, запряжённую в сани.

Выходит, Сары Шая был прав. Апырай, откуда он-то всё знает? Подобный переполох случается обычно, когда наезжает он. Так-то оно так. Но... Но ведь он прежде приезжал иначе. Прежде, помнится, приезжал в сопровождении целой свиты, будоража собак аула, ослепляя фарами эскорта автомобилей, которые, с рёвом пронесаясь по улице, останавливались перед большим домом с той стороны улицы. Насколько помнишь, не было случая, чтобы он забыл заранее, за несколько дней вперёд, сообщить о своём приезде. И тогда вся его многочисленная родня и весь аул, особенно детвора, которая проводила весь день, изнывая в ожидании, высыпала на улицу – встречать его...

Помня всё это, ты недоумевал, терялся в догадках. Знать бы, что кроется за этим. Почему на сей раз появился без помпы? Почему? Почему приехал, будто таясь, под покровом тьмы? Ты не отходил от окна, всё вглядывался в большой дом на той стороне улицы.

Гляди, и родственники будто тоже сбиты с толку и озадачены его столь скромным приездом. Забегали, засуетились как-то странно и растерянно, что ли... Вон кто-то, суетясь, быстро завёл лошадь с санями во двор. И так же суетливо, торопливо затворил ворота. Нет, неспроста всё это. Тут скрыта какая-то неведомая тебе причина. Что же это за причина?! Головоломка какая-то...

Сутулясь от смутной тяжести в душе, ты, заложив руки за спину, стал ходить взад-вперёд по комнате. В доме тишина. Шаги твои тонули в длинном ворсе ковра. Ты остановился, услышав шорох в соседней комнате. А когда, вслушиваясь, поднял голову, увидел прямо перед собой фотографию в изящной рамочке, висевшую на стене. Она здесь давно. На ней Бакизат где-то в горах, за городом, среди низкорослых яблонь, ветви которых гнулись под тяжестью снега. Она, тогда ещё студентка, чем-то возбуждённая, сияя счастливой улыбкой, забралась под дерево и пригнулась, чтобы не задеть снежные шапки на ветках. Радостно поблёскивают большие влажные глаза, лукаво скосясь на сторону. И в тот далёкий миг кто-то там, за кадром, подкравшись сзади, рывком, неожиданно потряс дерево. Да так сильно, что облако густого снега, сорвавшись с ветвей, обсыпало девушку. Тебе неприятно и больно видеть, что чья-то столь дерзкая выходка ничуть не осердила её, напротив, застигнутая врасплох, вся в снегу, но счастливая, Бакизат стояла, заливаясь смехом, обнажая ровный ряд белоснежных зубов. Вот это мгновение поймал и запечатлел тогда фотограф. Ты и раньше не любил эту фотографию. Необъяснимая неприязнь к ней настолько сильна, что ты избегал смотреть на неё и старался не обращать внимания и даже не думать о том, где, собственно, было это и на кого, так задорно блестя чёрными глазами, косилась она? Старался не думать, кто мог быть этот озорник. Его самого на фотографии не видно, но зато видна рука с часами. Вглядевшись повнимательнее, ты узнал и часы, и руку. И то, что увидел, подтверди-

ло все твои подозрения, которые ты гнал даже от самого себя, отмахиваясь от них все эти тринадцать лет, будто от назойливого, постыдного наваждения. Как хотелось тебе сорвать ненавистный снимок со стены и зашвырнуть куда-нибудь подальше!

Проклятое сердце чуяло... Как ещё чуяло, где может находиться без дела, безо всякой причины жена до сих пор. Хотел было спросить у дочери, которая вернулась недавно из школы, но, как всегда, не по годам серьёзная и строгая, она, не удостоив отца даже мимолётным взглядом, прошла в свою комнату.

Вспомнил Сары Шаю: тот знает всё! Не успел ты подумать о нём, как на краю аула затявкала собака. Вслед за ней всполошились другие. Собачий лай нарастал, подкатывался всё ближе и ближе, становясь яростнее. Не успел ты подумать, кто бы мог взбудоражить собак, как вдруг с грохотом распахнулась дверь, и кто-то, отгоняя полами чапана собак: «Вон! Пшол! Пшол!» – весь расхристанный, ввалился в дом.

– Это не аул, а псарня... Расплодили собак.

Сары Шая плюхнулся у двери. В нём, бедняге, есть что-то, что неизменно заводит и злит собак.

– Сколько я говорил, пора привлекать к ответу всех тех, кто держит злых собак... Нечего смеяться. В уголовном кодексе РСФСР от тысяча девятьсот...

– Бог с ними, с собаками... Хорошо, что пришли, дядя.

Сары Шая удивлённо взглянул на тебя. Потом быстро понял, почему этот негодник, который прежде слушал его вполуха, с откровенным равнодушием, словно жуящий и поглядывающий на сторону верблюд, стал вдруг любезен с ним. И понимающе ухмыльнулся. «Значит, ждётся? Стало быть, теперь начал ценить своего дядю».

– Знаешь... ты, похоже, был прав... Видал, как соседи разошлись?

«Подожди, то ли ещё будет».

– Ага, проходи!

«Погоди, паренёк, ты меня ещё на голову себе посадишь».

– Ну, что же ты стоишь, дядя... Сюда... Сюда проходи!

Но Сары Шая строптиво упёрся и, не обращая внимания на твои настойчивые приглашения, направился совсем в другую сторону.

– Где... Где ты, моя белоликая женеше?

– Чего орёшь, дурень, будто тонешь?! Ребёнка разбудишь.

– А, ты здесь? Знала бы, как я по тебе соскучился.

– Да ну тебя, балабол!

– А-а? Что? – Сары Шая, ловко скрестив ноги, плюхнулся рядом со старухой, колено в колено с ней, и, достав из-за пазухи какую-то штуковину на шнурке, поднёс ей ко рту.

– О Аллах, это ещё что такое?

В последние годы Сары Шая жаловался на тугоухость и недавно, съездив в город, обзавёлся слуховым аппаратом. С тех пор аппарат стал для него предметом гордости и забавы. Один конец шнура мигом втыкал в откушенное Кошеном ухо, а блестящую железку на другом конце, проворно извлечённую из-за пазухи, совал под нос каждому, с кем говорил. И всякий раз поражался и забавлялся, как малое дитя, что эта крохотная, со спичечный коробок, штука могла так усиливать человеческие голоса.

– Люди добрые ко сну отошли, а ты, как неприкаянный, по аулу шастаешь, собак баламутишь...

– Дела, женеше. Дела покоя не дают.

– Тоже мне. Был бы каким-нибудь начальником...

Щёлкнул аппарат. Слова старухи, как укус тарантула, мгновенно заглохли.

– Женеше, ты несправедлива ко мне. Вот если бы сын твой сделал меня начальником...

– Ишь ты, чего захотел!

– Чем я хуже других? Ты лучше подскажи своему щенку, чтобы он меня, сородича своего, возле сердца держал. Человек я скромный. Меня бы устроило место продавца.

– Брось! – старуха махнула рукой и засмеялась. – Мы-то знаем, какой ты продавец.

Да, рыбацкий аул помнит, как перед войной Сары Шая целых три месяца был продавцом. Вечно прозябавшая в нищете и ходившая в прорехах и заплатках его семья чуть ли не на следующий день после назначения Сары Шаи продавцом, всем на удивление, сразу засияла в роскошестве. Неузнаваемо изменился и сам Сары Шая. Разъезжая по аулам, предпочитал теперь останавливаться на ночлег только в тех домах, где постель чиста, пища вкусна, а хозяйка смазлива. Люди приходили в замешательство:

– Ойбай, жена, стели перину, взбивай подушки. А то этот шельма нынче стал разборчив.

Бабы рыбацкого аула днём шушукались и завистливо пялились на разнаряженную, павой расхаживающую по улицам жену продавца. А по ночам снились им ворсистые ковры на стенах, никелированные кровати с пышными перинами. Но вот не прошло и месяца, как у продавца обнаружилась недостача. Ко всеобщему ликованию баб, опустели дом и двор Сары Шаи, словно после грабежа. Если бы не помощь отца Жадигера – не выкрутиться бы Сары Шае.

Но вскоре он, несколько не смущаясь, очухался, почистил пёрышки и опять вошёл в тело. И снова в ауле бабы на каждом углу шу-шу да гу-гу. С завистью шептались о богатстве продавца, о его разнаряженной жёнушке и разодетых детях, как снова грянула внезапная ревизия. И опять уплыло, пошло по рукам всё его богатство. После этого стоило Сары Шае хоть малость поправить дела, как рыбацкий аул начинал тревожиться: «О Алла, как бы бедняга не загремел в каталажку...»

Старуху разбирал смех:

– Продавец тоже мне, хе-хе...

– Ну, тогда... хоть рабочкомом.

– А это ещё что такое? И там можно что-нибудь хапнуть?

Сары Шая, щёлкнув, выключил аппарат.

– Ишь ты, снова захотел над народом покуражиться?!

– Ну и что, если покуражусь? Чем я хуже твоего сына? Умом? Он-то растяпа, мямля, тюфяк. Если честно, он-то, мы знаем, вылез благодаря связям своих сватов. И теперь козликком бодливым по нашим головам скачет...

Мстительным сухим смешком рассыпался Сары Шая. Видно, неліцеприятные слова старухи больно задели его. Весь сгорбленный, помятый какой-то, доплёлся до следующей комнаты, где его поджидал ты. Какое-то время сидел молча, насупив мрачно брови.

– Видишь, всё вышло в точности, как я говорил.

– Знаю. Только... вот...

– Я говорил тебе в бане? Брату-заике нужно тёплое местечко.

– Нет, не потому приехал. Не так всё это.

Сары Шая прикрыл глаза. Ты же нетерпеливо поглядывал на него, ожидая, что он что-нибудь раскроет. Но Сары Шая медлил, перебирая редкие волосёнки на подбородке, словно хотел удостовериться, на месте ли они. Ты всё ждал, когда он наконец откроет глаза. Но выдержки не хватило, и в нетерпении начал

ломать пальцы, хрустя и пощёлкивая суставами. Только тут Сары Шая приоткрыл сперва один, потом другой глаз:

– У тебя суставы стреляют. Всё это от простуды. Шутка ли – всю жизнь в море. Съездил бы на грязи.

Ты едва не взбеленился. Заметив, как ты переменялся в лице, Сары Шая приподнял голову. Не расставаясь с зажатой под мышкой подушкой, повернулся было на правый бок, но тут же дёрнулся, словно в локоть ему вонзилась иголка, и снова повернулся на левый бок.

– Сядь рядом, балам¹ – сказал Сары Шая, указывая на место возле себя. Надулся важностью оттого, что его несносный родственник, всю жизнь не принимавший всерьёз ни одного его слова, теперь вдруг, по милости Аллаха, оказался в его власти.

– Недаром он академик, – сказал Сары Шая, – вишь, какой хитрец. На этот раз один приехал, прямо как нечистая сила!

Сары Шая заелозил на полу, подполз ближе. Ты поморщился, зная: теперь будет придвигаться всё ближе, ближе и липнуть, жарко шептать в ухо, при этом беспрестанно оглядываясь по сторонам.

– Почти все в ауле из его рода, а нас, из рода Жакаим, мало. Смекнул теперь? Завтра на общем собрании колхоза прокатят тебя и поставят баскармой Заику-Быдыка. Ну, говори, сам-то что против них предпринимашь?

– Против кого?

– Брось хитрить. Знаю, и ты не сидишь сложа руки. Заслал своего лазутчика к ним и выжидаешь теперь.

Сары Шая, заговорщицки подмигнув, мелко захихикал. В горле у тебя пересохло:

– Что ты мелешь! Какого лазутчика я к ним заслал?

– Будто не понимаешь? Конечно, благоразумнее держать язык за зубами. Лучше ты тогда скажи...

– Нет, подожди...

– Оу, зачем я должен ждать? Ойбай-ау, этот столичный хлыщ хочет нас среди бела дня облапошить, а я должен ждать! Сам Аллах сказал людям: «Эй, вы, рабы мои, хотя Бог и всемогущ, но и у меня благ не бездонный мешок. Я не столько даю, сколько делю между вами то, что имеете...»

Это излюбленный приём Сары Шаи: чтобы пронять как-то бестолкового ближнего, обращался либо к Корану, либо к Уголовному кодексу.

– Подожди, говорит мне! Оу, с какой такой стати я должен ждать?! Ты посмотри, оглянись вокруг, кто нынче не мечтает о власти?

– Так ведь на всех власти не напасёшься...

– То-то и оно! Потому и сыр-бор.

– А сыр-бор всегда кончается драчкой.

– Ну и что? За власть и подерёмся! Почему я, живой человек, должен без драки уступить свою долю? Ты, дружочек, знаешь ли, кресло баскармы ничуть не хуже царского трона. Да-да! И нечего рожу кривить. И не мотай головой! Хочешь знать, для нас ты – царь. За кресло баскармы мы должны, как за трон, держаться.

Ты злился на себя. Какого дьявола потянуло на откровенность с таким?.. И неспроста говорят, что «в возрождающемся народе у власти стоят творцы, в угасающем – подлецы». Так оно и есть.

– Посуди сам, в нашем роду и стар и млад не смеют перечить тебе. Прикажешь: «встань» – любой встанет. Скажешь: «ложись!» – ляжет... Скажешь:

¹ Балам – сын мой.

«умри!» – и любой... из нас... – Тут запнулся и озадаченно почесал жиденькую щетину на виске.

– Ну, договаривай, братец! Выходит, если я скажу: «умри», что, умрёшь?

– Астафыралла!.. Помилуй, Аллах!

– Чего испугался? Сам ведь только что...

– Да, сказал! И от слов своих не откажусь. Знаешь, прежде чем прийти сюда, я обошёл всех наших людей. Всех наших братьев, сватов, близких и дальних родичей предупредил: «Пришла пора действовать. Будьте начеку. Без кровавой драки не обойтись!..» Вот так, дружок!..

Ты, багровея, медленно встал. Недоумённо глядя на тебя, поспешно поднялся и Сары Шая.

– Соображаешь, что ты говоришь?!

– Ещё как соображаю. Ты только встань во главе! Веди нас, мы этих сукиных детей в порошок сотрём.

Тебя трясло. «О безумец! Ну, скажи... скажи, паскудник, чего ты добьёшься, посеяв раздор между рыбаками? Мало было разве и до тебя смутьянов и дураков, которые не пожалели сил, чтобы расчленить, как баранью тушку, и без того малочисленный народ?»

– Значит, ты... поднял людей?

– Да, Жадигержан, люди твои готовы на любую драку. Мы им пустим кровь. Эти сукины дети из рода Тлеу-Кабак возомнили себя хозяевами. И земля тут ихняя. И море ихнее. Что же – и правда ихняя?..

– О, пас-ку-да!..

– Что-о? Что ты сказал? Давай! Давай, повтори, договаривай!..

Увидев тебя, надвигающегося на него чернее тучи, он отшатнулся, поспешно отступил к двери.

* * *

Оставшись один, ты не находил себе места. Семья ужинала, словно после ссоры, в тягостном молчании. Потом каждый закрылся у себя в комнате. Вскоре весь дом затих. Время остановилось.

Не зная, чем занять себя, стал снова просматривать кипу старых газет. Но и там не нашёл ничего, что могло бы тебя отвлечь. Потом, не раздеваясь, прилёг на диван, но тут же поднял голову. Осторожными шагами проследовал к комнате матери. За плотно прикрытой дверью не было и намёка на звук. Ты знал, что она не спит. Бедная, как радовалась, была безмерно счастлива, когда в дом вошла сноха. Будто воскресло умершее, снова зажглось угасшее, говорила она. Да и сейчас у неё не было к снохе неприязни. Причина всех раздоров – родня жены. Особенно досаждают тебе старая хрычовка, прозванная в ауле «что ни день – девушка». Всегда раскрашенная, намазанная губной помадой, словно стервятник алой кровью.

Мать твоя заботилась о мире и согласии у домашнего очага, лишнего не говорила, молчала. За её сдержанным молчанием, быть может, душа её скорбела, что единственная сноха, родив двоих, больше не хочет, не желает детей – бережёт своё стройное, будто нерожалое, по-девичьи молодое тело. И в особенности больно и обидно ей, когда видит, как из других дворов по утрам высыпают на улицу, словно выводки цыплят, черноволосые карапузы. И она думает тогда, наверное: «Апырай, разве не предназначено небесами женщине, у которой рядом на брачном ложе муж, растворять, в определённый срок, свою плодоносную утробу? Есть ли грех более тяжкий, чем преграждать путь, по которому приходит жизнь-младенец на свет Божий? Каково же будет душе бабьей

встретиться в судный час на том свете с разгневанными душами детей её, так и не увидевших света жизни?»

Старая мать твёрдо верила, что всех женщин-детоубийц ожидает в загробном мире адский огонь. И потому она, коленопреклонённая на молитвенном коврике, в своих утренних молитвах просила Всевышнего понять человеческие слабости, простить невестке неведение своего греха и пощадить её...

* * *

Ты сроду не курил, но в эту минуту вдруг почувствовал нестерпимое желание затануться горьким дымом махорки, которую вечно смолил шофёр-бала, елозя самокрутку в углу рта.

Апырай, сколь бесконечна осенняя ночь! Часы на стене по-прежнему, дразня, словно цокали языком, дивясь человеку, потерявшему сон и неприкаянно бродившему по дому. Вскоре эти часы, казалось, оставив своё место на стене, окончательно поместились прямо у тебя в ушах. Неумолчное тиканье и звон теперь раздавались прямо изнутри черепа, напрямую терзая твой мозг. Ощущение такое, что ещё немного – и без того натянутые до предела нервы вот-вот порвутся. Тебе стало невыносимо, ты бросился было на улицу, но на пороге... взгляд вдруг упал на старый потёртый коврик – алашу, и ты замер. Вначале сам не понял почему.

Нагнулся, ещё раз глянул под ноги, будто желая понять, что же всё-таки притянуло твоё внимание. И тут вспомнил. Да, это же та самая алаша, что уцелела от небольшого добра, которое мать по крохам наживала ещё при жизни отца.

В молодости она слыла мастерицей и сама соткала эту алашу. И эта алаша до твоей женитьбы была гордостью дома. Помнится, мать расстилала её только перед приходом почтенных гостей, в остальное время убирала. Тёща же, хрычовка, всё норовила выжить из дома старые вещи. Каждый раз, приходя к вам домой, брезгливо морщилась и со злостью пинала и швыряла алашу, пока та не очутилась вот тут, у порога.

Трудно признаться, но тебе в собственном доме становилось всё неуютнее. Среди выставленной, будто напоказ, сверкающей мебели, дорогих ковров чувствовал себя стеснённо и неловко, терялся, словно приبلудный сирота. И впрямь ощущал, что натёртый до блеска пол, на который давеча боялся ступить старик-адаец, и вся эта роскошная мебель никак не вязались с тобой, с ног до головы провонявшим рыбой. Всё яснее понимая, как ты тут неуместен, вдруг с болью ощутил, что одинок не только в жизни, – ты одинок и в своём собственном доме. И в пустоте огромного жилища заскорбела душа твоя. Тронь её ненароком – небось заревёт от боли... Что ни говори, будь ты сыт, будь ты голоден, но душа человеческая всегда сирота. Порой чувство сиротского одиночества вдруг настигает тебя, как ни странно, даже среди скопища людского. Вот когда действительно тяжко!

* * *

Не находя себе места дома, вышел на улицу. Мороз к вечеру как будто окреп. Ветер стал злее. Холод мгновенно прохватил тебя, ты вскоре продрог, но возвращаться в дом не захотелось. Душа по-прежнему ныла, маялась. Особенно злили проделки Сары Шаи. Стараясь успокоить себя, ты думал, что не он один такой. По правде говоря, какой казах когда-либо спокойно провёл ночь после бесконечных дрязг и тяжб? Когда, в какие времена казаху, снедаемому собственными печальми и горестями, хватало ума и сердца подумать не только о своих болячках, но и о собственном народе? Не изведавший радости пахаря, обильно полившего потом землю, чтобы вырастить на ней хлеб, кочевой народ

имел лишь одну, извечную, от отца к сыну переходившую страсть – быть всегда на коне. Главное – верховодить. Стать высоко на виду. Даже если не сам, то пусть хоть кто-то из близких, обязательно из сородичей, воссядет на коня, даже на клячу, – но пощекочет самолюбие.

Благословенному такому предку стоило лишь взяться за меч и бросить клич, как весь род поднимался. Спрашивается, зачем? Покуражиться над слабыми? Показать лихую силу? Утвердить свою власть? Того, кто сумел повести за собой соплеменников, потомки прославляли как великого батыра, почитая его имя и поклоняясь его нетленному духу. Отправляясь в новый поход, джигиты, следуя обычаям, навещали древнюю могилу и, стоя на коленях, просили благословения у духа славного предка. Бездетные женщины, проводя в молитвах ночь у могилы, просили дух предка благословить их бесплодные лона. Неизвестно, насколько в трудный час дух славных предков благоприятствовал делам своих ближних и дальних потомков, но что их норы и ухватки непременно переходили по наследству, это точно, этого не отнять у казахов!

Долго стоял на ветру. Озирался по сторонам. Весь аул спал. Темны окна клуба и школы. Только в соседнем доме напротив плескалась через край радость. И сам дом ходил ходуном. Во всех четырёх окнах, обращённых на улицу, ярко горел свет. Людно и шумно во дворе. Там кто-то хлопотал у летней печки, гремел котлом. Кто-то разжигал самовар... А вон тот, взмахивая топором, с надсадным хаканьем колет дрова. Кто-то что-то тащит волоком, кряхтя и отдуваясь. Этот громко кричит на кого-то, отдавая распоряжения, посылая за чем-то, и попутно вразумляет в чём-то... Вдруг многоголосый шум и гам перекрыло болботанье косноязычного хозяина. «Я говорю... поторапливайся, го-го-ворю... Скорее го-готовь, го-ворю... А ты, бебестолочь бе-без-мозглая, го-говору. Ты не поче-шешься, говорю, пока... по-по-по...» Это и есть тот самый Заика-Быдык, о котором давеча говорил Сары Шая. Интересно, при таком «го-го... бе-бе...» – как бы он руководил колхозом?

Должно быть, к снегу – холод явно ужесточился. Ты решил вернуться в дом. Был доволен, что прогнал Сары Шаю. Почувствовал облегчение. Даже душевное успокоение... Только теперь ощутил, что дрожишь. Направляясь к дому, ещё раз оглянулся на чужое веселье... И тут вдруг... будто споткнулся обо что-то и застыл на месте... Сердце ёкнуло. Взгляд упал на крайнее освещённое окно, где на занавеске возникла в этот момент тень женщины с узлом волос на затылке. Она появилась откуда-то из глубины комнаты. Её чёткий силуэт лёг на белую шёлковую штору, залитую светом люстры, как бы снисходительно позволяя любоваться собой тем, кто глазел с улицы... Тебя кипятком ошпарила страшная догадка. Вот, оказывается, куда она торопилась! Словно дожидаясь именно этого момента, тут же рядом возник силуэт статного мужчины. Казалось, и она этого ожидала и была рада уединению, доверчиво подалась к нему...

Ты зажмурился. Затряс, замотал головой, желая, чтобы сгнуло кошмарное наваждение. А когда снова открыл глаза, то увидел... На белом шёлковом полотне, как на экране, запрокинув вверх к статному собеседнику лицо, она ласково дотронулась до его рук и что-то, должно быть, ему вымолвила... Явь или сон? А может, всего лишь бредовое видение или плод ревнивого воображения, навеянного намёками Сары Шай?

Опомнясь, почувствовал, что весь в холодной испарине. Отирая пот с лица ладонью, ощутил, как мелко-мелко дрожат пальцы. И всё тело колотило этой противной дрожью. Неужто заболел? Не помнишь, как вернулся домой. Оказывается, не сразу заметил и испуганно-тревожный взгляд матери, что со страхом смотрела на твоё помертвевшее лицо.

– Сынок, что случилось?

- Ничего, апа...
- Что-то шумно в том доме... Уж не Азим ли приехал?..
- Не знаю, не знаю, апа...
- Если он, сходи!
- Ты бы уснула, апа...
- Сходи, сынок. Как-никак друзья ведь, сверстники.
- Нечего об этом, апа. Иди приляг лучше... – ты раздражался всё сильнее.

Мать пристально смотрела на тебя. Её старые пронзительные глаза будто жадно обшаривали каждый уголок твоей души, стараясь выведать, что же там происходит. Ты весь напрягся – даже после того, как она, ничего не сказав, удалилась, не сразу пришёл в себя...

Старая твоя мать словно что-то знала. Тебе подумалось, что проныра Сары Шая уже успел нашептать матери. По тому, как он нахально ввалился сюда, как с порога завопил: «белолицая моя женеше!..» – можно предположить, что все сомнения и подозрения, раздиравшие твою душу, для него давно уже не были тайной. Ну конечно... Конечно же, всё успел пронюхать! Хоть и не говорил прямо, а кружил намёками, многозначительно ухмылялся, расспрашивая о некоем тайном согладатае... Быть может, расспрашивал для отвода глаз... посмеяться чтобы... Да разве случайной была на его рыжем голом рыльце эта гаденькая улыбка, разве не смеялись над тобой эти кошачьи, подстерегающие каждое твоё движение глаза... Ах, оборотень! Да тебя бы не то что вышвырнуть... Надо было задушить, вырвать твоё жало!..

Только сейчас дошло до тебя, почему Бакизат нарядилась как на праздник... И вот торчишь теперь столбом посреди комнаты. Тебя продолжает бить озноб, лоб и ладони покрылись липкой испариной. Всплыла давняя тревога: может, болен? Ты и прежде не привык обращать внимание на свои недомогания. Всегда получалось так, что не столько ты сам, сколько другие замечали, что неладно с твоим здоровьем. Вот и Бакизат с некоторых пор начала подмечать некие твои странности: «Ты почему всё время вбок косишь? Случайно, не болен?» – спрашивала она. Ты отмахивался: «Вздор, с чего ты взяла?»

Однажды отправился вместе с ней в степь, в стан верблюжатников. Перед этим шофёр-бала, на ходу обвязывая голову полотенцем, улизнул на чьи-то поминки, и ты не стал ждать его, сам сел за руль. Всю дорогу был не в духе, подавлен. Тебя угнетал вид который уж год выгоравшей дотла безжизненной степи. Удручённый увиденным, оглядывался на голую пустыню, совсем забыв про жену, которая сидела рядом и, оказываясь, неотступно следила за тобой. «Эй, Жадигер... Почему всё время влево косишься? Тебе что-то там мерещится? Вообще, ты случайно не болен? Я забыла, как это называется... но, по-моему, это симптом какой-то душевной болезни. Не мотай головой, я серьёзно. Ты непременно должен показаться врачу...»

Тогда тебе всё это представилось не больше чем бабьей блажью. Поэтому, отмахнувшись, добродушно рассмеялся. А сейчас вдруг подумал: «Может, и впрямь нездоров? Постой... Да с какой стороны сейчас почудилось тебе это виденье в окне? Справа или слева? Кажется, слева... Сон ли дурной или явь?... Или, может, впрямь какая душевная червоточинка поселилась в тебе?!»

Голова раскалывалась. Дотронулся ладонью до лба... Так и есть... Испарина, жар... Горели то ли ладони, то ли лоб, не понять. Выходит, болен. Говорят, когда человек этим заболевает, сам он того не замечает, не чувствует...

В следующую поездку в район ты обязательно должен показаться знакомому врачу, тому самому, у супруги которого ты выпросил домашний цветок в горшке...

Продолжение в № 1, 2025.